

В. РОПШИН (Б. САВИНКОВ)



КОНЫ ВОРОНОЙ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПРИБОИ
ЛЕНИНГРАД**

1924

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА**

В. РОПШИН (Б. САВИНКОВ)

КОНЬ ВОРОНОЙ

Со вступительной статьей
Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА
и с предисловием автора
к настоящему изданию

ИЗДАТЕЛЬСТВО „П Р И Б О Й“
ЛЕНИНГРАД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

1924



„СУБЪЕКТИВНАЯ ПРАВДА“ ИЛИ „ЗВЕРИНАЯ НЕ- НАВИСТЬ“.

Гр. Савинков пишет в своем предисловии, что его „повесть не биография, но она и не измышление“. Ее герой не сам автор, а все те, кто подобно ему выступал вооруженной рукой против русской пролетарской революции. Но тем интереснее эта повесть, ибо вскрывает она психологию и идеологию не одного только Б. Савинкова, в конце концов мало для нас интересного, а психику и идеологию целой крупной группы врагов революции. Рассматриваемая с этой стороны повесть очень интересна. В нее стоит вчитаться и вдуматься.

„Субъективно, конечно, все правы“ — пишет в своем предисловии гр. Савинков. Субъективно правым считает он и себя, и Жоржа, и Федю, и прочих героев пьесы. То же говорил Савинков и на своем процессе. „Я боюсь, — говорил он, — что найдутся в России крестьяне или рабочие, которые не поймут меня, которые не поймут моей жизни и которые подумают, что я был врагом народа. Вот это неправда... Я заблуждался“.

Гр. Савинков говорит, что он боролся против революции, потому что он „ошибался“. А как только сознал свою ошибку, он ушел из лагеря контр-революции. Субъективно и он, подобно своим героям, был прав.

Верно ли это

Поищем ответ в повести гр. Савинкова.

Жорж, Федя, Вреде и другие герои повести идут спасать Россию от большевиков, от их насилия; они идут освобождать народ, крестьянство. Что же они сами-то представляют? Послушаем, как их характеризует их предводитель Жорж.

Федя — бывший бакалейный торговец.

Вреде — говорит о себе:

„Нас было три сестры и два брата и отец генерал... Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли; старший брат убит на Кавказе... Имение разгромили... Отца и брата я им простить не могу“.

Третий бандит — Иван Лукич — мечтает:

„Хутор куплю, заведу голландских коров, лен посею... И женюсь на богатой... Мне все равно, Совнарком, Советы, Учредительное собрание, или даже пусть чорт собачий... Я за собственность“...

Так герои повести рекомендуют сами себя.

Немудрено, что обиженные революцией бывший торговец и остзейский барон ненавидят революцию и борются против нее. Немудрено, что революцию ненавидит кулак, ибо революция мешает ему стать кулаком. Но где же здесь спасение России? Ненависть диктуется им интересами их кармана. Где же тут „ошибка“? Где „суб‘ективная правда“?

Жорж — герой повести — видит своекорыстные мотивы ненависти своих подчиненных; он видит их дрянность, негодность; он откровенно говорит им об этом.

— А вы белый? — спрашивает он Вреде.

— Да, белый. Я за Россию.

Он улыбается.

— И за усадьбу? — предлагает он коварный вопрос.

И, видя насквозь своих героев, он остается с ними, их руками хочет восстановить Россию. Неужели все это можно назвать ошибкой?

Посмотрим, чем руководствуется в своей борьбе сам Жорж.

У Жоржа была любовница — крестьянка Груня. Жорж признается, что не любил ее. Но у нее была „высокая грудь“, и в любовных упражнениях она была необыкновенно темпераментна. Поэтому „делиться ею он ни с кем не хотел“. Красные арестовали ее и увели в Ржев. Жорж не может перенести такой обиды. Он нападает на Ржев, хотя его шайка так слаба, что у него нет никакой надежды удержать город. Грушу он не находит... „Зачем же я пожертвовал шайкой? — размышляет он: — Зачем мы брали Ржев?“ И, уходя из города без Груши, он приказывает повесить столько человек, сколько на площади фонарей.

Болтать сантиментально - напыщенными фразами о спасении России, перебить и повесить массу народа, погубить свой отряд только потому, что арестовали Грушу, которой он делиться не хотел, — неужели все это можно назвать субъективной правдой? Неужели и здесь все дело только в невольной „ошибке“?

Герои повести негодуют на жестокости революции. Ну, а как они сами ведут себя?

Послушаем, что рассказывает об этом Савинков.

Жорж уличает одного из бандитов в измене. Он приказывает его повесить, не расстрелять, а повесить. А предварительно он приказывает дать ему полтора ста плетей. Необыкновенно гуманно.

Жорж жалуется, что его бандиты творят много насилий: грабят, убивают, громят евреев, насилуют женщин. „Что же делать? — спрашивает он: — Расстреливать?.. Но ведь нельзя же расстрелять половину полка“.

Банда взяла Бобруйск, и Жорж пишет в своем дневнике:

„Пьяные, трезвые солдаты и офицеры грабят. По всему городу идет беспросветное воровство, неприкрытый дневной грабеж“.

В другом месте Жорж записывает в своем дневнике: „Нет, не разорвать сомкнувшегося кольца: плети, виселицы, расстрел“.

Да что виселицы! Жорж разрешал дела гораздо похуже. Он позволял же чь „provokatora“.

„Что же с ним, с окаанным, делать? — говорит бандит Егоров:—Запороть, так время уйдет. Повесить, так людям зазорно будет. Вот и жгем поменьку“.

Что же делает Жорж? Он не останавливает зверской расправы. Он молча уходит и, уходя, слышит: — Бороду, Федя, бороду ему подпали.

Жорж видит все это и продолжает оставаться во главе банды, думая, что он спасает Россию, что „субъективно, конечно, все правы“. А после объясняет все дело маленькой „ошибкой“.

Герои повести Савинкова хотят помочь крестьянству, освободить его от насилия большевиков. Как же смотрит на них освобождаемое крестьянство?

Банда Жоржа берет деревню Бухчу. Жорж собирает крестьян и говорит им речь. Крестьяне „слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят; в их глазах я был барин. А когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

— А почему у вас генералы?

— А почему с вами паны?

Что мог я ответить? — пишет Жорж:—Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да в армии идет воровство“.

В разговор вмешивается бандит Егоров. Ему удается уговорить часть крестьян вступить в банду, ибо они — бандиты — якобы идут против панов. А после Федя говорит Жоржу:

— Нестоящее это дело, господин полковник.

— Почему?

— Да убегут мужиченки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно, за что воюем.

Жорж спрашивает одного крестьянина: „почему деревня не поддержала белых?“ Крестьянин отвечает:

— Ты вот что пойми. Я гол, как сокол, и у меня паутина под образами. Зато сам себе барин. А придут генералы, может быть, я и разживусь, да не хозяином в своей хате, а холуем на барском дворе. Вот то-то оно и есть.

Жорж все это слышит, но это не заставляет его задуматься и от вопроса, где суб'ективная правда, перейти к вопросу об об'ективной правде. Савинков говорит в своем предисловии, что теперь ответ на этот последний вопрос „ясен“. „Народ, миллионы крестьян и рабочих не с Жоржем, даже не с Грушей. И суб'ективно не поколебленные весы об'ективно склоняются одной своей чашей, той, на которой „последняя и решительная“ борьба за жизнь и благоденствие трудового народа. То-есть не чашей Жоржа“. Ну, а раньше-то как этого Жорж не видел? Ведь, кажется, достаточно ясно говорили ему крестьяне. Даже Федя понимал, что Егоров врал крестьянам. А умные Жорж и Савинков ничего не замечали и твердят о суб'ективной правде и о невольной ошибке, о том, что они не были врагами народа.

Герои Савинкова говорят, что большевики предали Россию, что они обезоружили ее. Верят ли они в это? Нет. Вреде, оставаясь в рядах контрреволюции, поступает в Красную Армию, чтобы удобнее скрываться. А через некоторое время говорит:

— Надо правду сказать... Какой это сброд? Это армия, настоящая армия...

А после этого сейчас же соглашается принять участие в террористическом акте. Еще бы! Ведь у него имение отняли.

Ну, а сам Жорж верит в то, что белые и бандиты борются за свободу России? Послушаем его.

„Верю ли я в победу?—спрашивает он:—В тылу—тупоумие, взятка и воровство—слепорожденные мыши.

На фронте — тупоумие, доблесть, разбой... Мы корыстно любили Москву". И Жорж сомневается, что белые могут победить.

Но он — барин — ненавидит революцию и хочет бороться против нее во что бы то ни стало, даже без надежды на победу. „Во мне живет звериное чувство, — говорит он: — Я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить“.

„Трудно жить без возвышающего обмана, — пишет Жорж в конце книги: — Еще труднее бороться. За что я борюсь? Я не верю в программы. Разве Егоров выстроит новую жизнь? Разве Федя посеет здоровое семя? Разве Вреде не взбунтовавшийся барин? Разве Иван Лукич не кулак? Что приносим мы с собой России?“

Так пишет Жорж в конце повести. Но не надо думать, что эти мысли навеяны ему всем, что он видел, слышал и испытал во время своей борьбы. Уже в начале своего „похода“ Жорж знал, что белые несут несчастье и рабство трудовому народу и счастье и благоденствие его эксплуататорам. Вот что пишет Жорж в начале книги:

„Где наше воплощенное слово? Где наша истина, наша божья благодать? Егоров наврал: неизвестно за что воюем... Я знаю, почему я вешаю их, но не знаю зачем. В тылу фабрикуется царь, даже не царь, а царек, доморощенный и карикатурный Наполеон. В нем спасение России? Спасение генералов и бар. Спасение тех, кого с кровью выплюнул русский народ“.

Нет, не могут прикрыться враги пролетарской революции утверждением, что они не видели, не понимали, „ошибались“. Не могут они говорить, что, если не об'ективная, то хотя суб'ективная правда была на их стороне. Они боролись против революции, против народа, потому что революция их обидела, затронула их карманы. Они не служили народу и ненавидели его. Они ненавидели и Россию. „Чорт меня дернул родиться русским, — пишет Жорж: — Народ - богоносец надул“.

Не о „суб‘ективной правде“, а только о „звериной ненависти“ к революции может тут итти речь.

Повесть Савинкова „Конь Вороной“ прекрасно рисует это отсутствие веры в победу, эту „звериную ненависть“ белых и прочих бандитов к революции. Она прекрасно разоблачает психологию этих бандитов. Поэтому книга эта и издается сейчас безо всяких выпусков и изменений.

Н. Л. Мещеряков.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

Повесть эта была написана мной за границей, в 1923 году. Я описывал либо то, что пережил сам, либо то, что мне рассказывали другие. Эта повесть не биография, но она и не измышление. Первоначально я хотел ее озаглавить „Федя“, потому что Федя, мне кажется, является главным ее героем. Федя, не понимающий, почему он борется против большевиков, и в то же время ненавидящий их, был везде, на всех фронтах, во всех „белых“ армиях, во всех „зеленых“ отрядах и в каждой тайной организации. В нем воплотились его же слова: „Неизвестно за что воюем“... Это „неизвестно за что воюем“ владеет и Жоржем, владеет и Вреде. „За Россию“... Но за какую Россию? „Ведь те и другие — мы“... Только один Егоров твердо знает, за что проливает кровь. Но Егоров весь в прошлом. Ему чужда новая, рождающаяся в России жизнь.

Суб’ективно, конечно, все правы. Правы „красные“, правы „белые“, правы „зеленые“. Поэтому я и назвал повесть не „Федя“, а „Конь Вороной“: „И вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей“. Меру, то-есть непоколебленные веса. Ибо чаши весов не колеблются оттого, что Жорж, или Вреде, или Федя не ведают, что творят.

Но объективно правы либо те, либо другие,—либо красные, либо противники их. На этот вопрос моя

повесть не дает прямого ответа. Но он ясен. Народ, миллионы крестьян и рабочих, — не с Жоржем, даже не с Грушей.

И суб'ективно непоколебленные веса—об'ективно склоняются одной своей чашей, той, на которой „последняя и решительная“ борьба за жизнь и благоденствие трудового народа. То-есть не чашею Жоржа.

Б. Савинков—.

(В. Ротшиль)

Сентябрь 1924.

Инструкция Горьма

КОНЬ ВОРОНОЙ

I

*„...И вот, конь вороной,
и на нем всадник, имею-
щий меру в руке своей“.*

Откр. VI, 5.

*„...Кто ненавидит брата
своего, тот находится во
тьме, и во тьме ходит,
и не знает, куда идет,
ибо тьма ослепила ему
глаза“.*

Иоан. II, 11.

1 ноября.

Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.

— Садись.

— Постояю, господин полковник.

— Садись, вот здесь, напротив меня.

Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краешек стула.

— Ты рабочий Путиловского завода?

— Так точно.

— Я взял тебя на бронепоезде „Ленин“?

— Так точно.

— Что я сказал тогда? Повтори.

Он задумался и поднял глаза.

— Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют...

— Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу... Так?

— Так точно.

— А теперь я знаю, что ты коммунист.

Он вздрогнул.

— Сознавайся, кто еще в ком'ячейке?

— Не могу знать, господин полковник.

— А что с тобой будет, знаешь?

— Воля ваша.

— Хорошо. Ординарцы!..

Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.

— Ординарцы! Полтора ста плетей!

Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же, в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый, запошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобыла Голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух.

— Господин полковник!

„Сорок два... Сорок три... Сорок четыре“... Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: „Ишь, ворочается... На-голову, Федя, садись“... Это „работал“ Егоров.

2 ноября.

Егоров седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это—„бабье дело“, а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:

— За что ты их ненавидишь?

— Кого?

— Коммунистов.

— Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили... Даже пес жалеет своих щенят... На кострах жарить их надо.

— Да ведь белые за помещиков.

— Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.

— Когда?

— А вот время придет.

Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он

в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:

— Язва. Отстань. Я не за бар, — за Рассею.

За Россию... До войны он наверное говорил: „мы — скобари“, и знать не хотел „калуцких“. А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России „бесов“.

3 ноября.

Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.

На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.

Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом. За нарушение — смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась валюта — американские доллары; что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.

Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починяя его, и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко:

Полюбили сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича,
И все такое прочее...

4 ноября.

Федя—художник. В свободное от „занятий“ время он рисует „картинки“. Одну из таких „картинок“ он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, нос с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано: „Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин“.

Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву. На самом деле, он бывший бакалейный торговец, Владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:

— Граммо - граммо - граммофон... Пате - пате-патефон... А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?

5 ноября.

Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные, черно-лиловые облака низко опускались на землю.

Я люблю простор широких полей: Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский,

потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом, земли. Здесь нет и не нужно Европы — скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь — „не белы снеги“, безрассудство, буйство и бунт.

Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали инеем ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и Голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и Березина, и шуршащий тростник, и я — одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир... И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, какую я видел ее когда-то, в Москве, — в белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею?

6 ноября.

Россия — Ольга, Ольга — Россия. Если не будет Ольги; моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно, что влачиться с Ольгой в изгнании, — влачиться на „поломанных крыльях“, дрожа и „прижавшись к праху“.

7 ноября.

Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет?

Был восьмой час утра. Выходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поеживаясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на до-гола обнаженном суку,

верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы.

— Начинай.

Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой, белой, расстегнутой на шее, рубашке. Егоров толкнул его в бок.

— Лоб-то... Лоб-то перекрести, сукин сын.

Я видел, как быстро, быстро задвигались пальцы, и зашевелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал:

— Господин... Господин полковник!..

Но Егоров угрюмо сказал:

— Даже помереть не умеешь. На что крестишься?.. Крестись на восход.

Федя накинуд веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное, бессильное тело. Федя прыгнул, дернул за ноги и закричал на улан:

— Чего не видели? Расходись!..

8 ноября.

Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте, ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал. Он командует вторым эскадроном.

Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов.

— Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?

— Приказано.

— А скоро пойдем вперед?

— Когда прикажут.

Он хмурит тонкие брови.

— Надоело.

— Идите один.

— Вы всегда надо мной смеетесь.

— Смеюсь? Бог с вами, Вреде... Если бы мне надоело, я бы ушел.

— Куда?

— В лес.

Скудеет день, загорелись первые звезды. За окном морозная ночь. Вреде ходит из угла в угол.

— Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно... Ну, вот... Отца и брата я им простить не могу...

— У Назаренки тоже, наверное, есть брат.

— У Назаренки?.. Так ведь он коммунист.

— А вы белый?

— Да, белый. Я за Россию.

Я улыбаюсь:

— И за усадьбу?

— За усадьбу? Нет... Чорт с нею, с усадьбой. Я не горюю: пусть разживаются мужики.

Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть:

— И разживутся, и попользуются, господин поручик... Уж такой, стало быть, вороватый народ...

9 ноября.

У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреде убили отца. У Феде убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я?

У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру, — пьяный великий князь или пьяный матрос с серьгой:

ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно „обогащается“, то-есть ворует, — царский чиновник или „сознательный коммунист“: ведь не единым хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной, — Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч?..

Но я ненавижу их. В распояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык. Оскверняют самое имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина — предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием, — не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу —
И убей!

10 ноября.

Москва... Москва начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, без ее богатства, славы, унижения и нищеты, нет родины, а значит нет и меня. „Горят кресты на церквах, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная“.

Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство, — слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой, — не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву.

11 ноября.

Слава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание итти на Грабово и Бобруйск. Я велел отслужить молебен. Гололедица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет: „О мире всего мира и о спасении душ наших господу помолимся“..., и Федя в мокрой шинели тянет вместо дьячка: „господи помилуй, господи помилуй, господи поми-луй“... Уланы крестятся. Многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами: мы „нехристи“ и „еретики“.

12 ноября.

Входит Вреде. Он взволнован. Голос его дрожит:

— Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики, в самом деле?.. Вы знаете, что случилось?

— Что?

— Жгун застрелил еврея.

— Из-за чего?

— Из-за денег.

Ротмистр Жгун храбрый и исполнительный офицер. Но он грабитель. Он не говорит „ограбил“ или „украл“, а говорит „покупил“ шубу, купил кольцо, купил сапоги. Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо.

— По ко́ням!

Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди, на высоком, сером в яблоках, жеребце, ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у красного офицера.

— Ротмистр Жгун!

— Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет 40. Он из вахмистров царской службы.

— Вы убили еврея?

— Так точно.

— За что?

— Да ведь жид, господин полковник...

— Я спрашиваю: за что?

Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу:

— Трубач, за что ротмистр Жгун застрелил еврея?

Трубач потупился: боится начальства. Но я настаиваю:

— Я приказываю тебе. Отвечай.

— За часы, господин полковник.

— Вы слышали, ротмистр Жгун?

Он молчит. Он „ест“ меня по-солдатски глазами... Тогда я говорю:

— Расстрелять.

Я поворачиваю Голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же, у поповского дома, к стене. Я жду. Я жду недолго. Трещат два выстрела. Я командую:

— Справа по три. За мной! Шагом... ма-арш!

13 ноября.

Я помню: я познакомился с Ольгой случайно. Я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смываются „печальные строки“. Я встретил девушку. Она спросила дорогу. Мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал потому, что мне было жутко, — жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку. Но она посмо-

трела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смутился. И в смущении зародилась любовь.

14 ноября

Пресека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор. Не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучек, не хрустнет, падая, ветка. Пофыркивают негромко кони, и гулко и ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я вполголоса говорю: „Под-ноги налево... Под-ноги направо“..., и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1-ый Уланский полк. Идем к Березине.

Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где, среди колючей травы, еще алеет брусника. На болоте пасется стадо. Мычат коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо смотрит нам вслед.

- Откуда?
- Из Бухчи.
- Есть в Бухче красные?
- А может и есть...
- Много?
- А может и много...

Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно — белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:

- Пошел вон, лесовик!..

15 ноября.

В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем.

Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

— А почему у вас генералы?

— А почему с вами паны?

— А почему не платите за подводы?

Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство... Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:

— Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то загавривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?.

— Перекрестись, что против панов.

Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.

— Бумагу написать можешь?

— Могу.

— А печатку приложить можешь?

— Могу.

Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.

— Нестоющее это дело, господин полковник.

— Почему?

— Да убегут мужиченки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно за что воюем.

17 ноября.

В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острая мысль, — мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя, Голубка просит поводьев,

оступается и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки... Какое наивное, навеки забытое слово... Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?.. Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах.

18 ноября.

Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья, — говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачек.

Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселую вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами, осторожно ведут некованных лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь жизни. Жить — не думать, не знать, не помнить...

Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют „Олега“.

19 ноября.

Федя подает мне бинокль.

— Вот они, господин полковник.

Я вижу: в сизой мгле колышятся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?

— В атаку! В карьер!

Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка. Низко наклоняясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы, — не щелканье ли бичей? Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало... Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к далекому лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.

Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул на него, на этого русского, в шлеме с красной звездой, мужика, и мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул:

— Опустит руку!

Жеребцов злобно, всем телом, повернулся ко мне.

— Опустит! А ты... А ты, еловая голова, иди за мною...

Красноармеец сперва не понял. Потом поднял испуганные глаза. Потом крестясь и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой:

— Вот спасибо... Вот так спасибо... Вот так уж на самом деле спасибо...

20 ноября.

„Не убий!“... Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. „Не убий“, но все убивают вокруг. Льется „клюквенный сок“, затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой

тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях завета?.. Какой кощунственный балаган!

21 ноября.

Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, ранено человек десять улан, и убит трубач Барабошка. Он был тоже „скобарь“, земляк Егорова, заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, даже когда нечего было есть, даже когда люди от усталости засыпали на седлах. — „Тяжело, Барабошка?“ — „Никак нет, нам скопским кап што“... В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему итти в добровольцы.

Мы похоронили Барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели „вечную память“ и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя, нахмурясь, сказал:

- Жил грешно и умер смешно.
- Почему смешно, Федя?
- Да ведь не от чужой, а от русской пули.

22 ноября.

Ночью меня разбудил Федя.

— Вставайте, господин полковник. вставайте!

— В чем дело?

— Уже ура кричат, господин полковник...

Я мало верю в ночные атаки. Но делать нечего: я нехотя одеваюсь. На улице тьма. Ни зги. Настойчиво стучат у околицы пулеметы. Больше ни звука. Я спрашиваю:

— Кто же кричит ура?

— Виноват, господин полковник.

Федя не трус, но не лучше труса. У него испорченное воображение. Ему мерещится то, чего нет. Замечает ли он то, что есть?.. Ему стыдно. Он говорит:

— Ведь так и лезут с одиннадцати часов...

Пусть „лезут“... Я захожу посмотреть Голубку. Она почувствовала меня и обернулась в темном сарае, — сверкнула скошенным глазом. Я ласкаю ее упругую грудь, ее гибкую шею. Она просит сахара — ищет горячими губами ладонь. Но сахара нет. Все еще стучат пулеметы. За моей спиной покорно вздыхает Федя.

24 ноября.

Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею — четыре орудия, сегодня два пехотных полка. Федя хвалится: „Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем“. Егоров останавливает его: „Не мели. Воля божья... О себе пекись. Как бы не забрали тебя“... Но я спокоен: Федю не заберут.

Холодно. Свищет ветер. Воеет и разыгрывается мятель. Вреде выстроил пленных в поле. Он командует:

— Смирно!

Восемьсот, одетых в военную форму, крестьян впивается мне в лицо. У всех один и тот же, напряженный и недоверчивый, взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает:

— Прикажете тачанки подать?..

Тачанки... Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим

записаться к нам. И я сказал, что каждый волен идти домой.

Они не поняли. Кружилась снежная пыль, таяла и забивалась за воротник. Я ушел. Они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок?...

25 ноября.

К пленным я послал Егорова и „мужиченков“ из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составился новый добровольческий полк — 1-ый Партизанский, пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство: я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить.

26 ноября.

Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе этот вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок?.. Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастий и поражений. Не тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку... Страшна неразделенная жизнь.

27 ноября.

Я написал на клочке бумаги: „Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город. В случае неисполнения сего приказа, я вас повешу. Деревня Микашевичи. Подпись“. Эту записку я передаю перебежчику. Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав.

— Ничего больше, товарищ?

— Ничего.

— Счастливо оставаться, товарищ.

Для него я „товарищ“, а не „господин полковник“ и уж, конечно, не „его благородие“. Вреде не признает этих „коммунистических новшеств“. Он не может понять, что он давно не его величества лейб-гусар, а такой же доброволец, как Федя. „Товарищ“ звучит для него оскорблением. Мне все равно: лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг в Москве... Мне приказано ждать. Тем хуже. Завтра я наступаю.

28 ноября.

Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю, гранаты, звенела и таяла в голубых небесах шрапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебегали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная шашка, как спичка; игрушечная винтовка, как карандаш; игрушечный разрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, на истоптанной прошлогодней траве валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну, офицерскую, подбитую мехом. Она была испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь и надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде: „ординарцам всегда везет“. Но сегодня везет и им: люди сыты, и у лошадей есть овес.

29 ноября.

Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, багровое солнце. На гулких улицах ни души. Чернеют заколоченные дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы. На главной площади, на канате, два источенных дождями пор-

трета: Ленин и Троцкий. Егоров саблей разрубает канат.

Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения: русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас — „разбойниках“ и „бандитах“. И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа?

30 ноября.

Взводный Жеребцов делает мне доклад:

— Так что взяли нас, господин полковник, под Микашевичами, в раз'езде, — Кучеряева, Карягина и меня. Привезли в Бобруйск, потащили в Че - ку. В Че - ке не комиссар, а толстая баба, содком. Во френче и в галифах. В руке у нее наган. Взглянула на Кучеряева, говорит: „Ползи на коленях“. Кучеряев пополз. Она трах из нагана. Потом Карягину: „А теперь ползи ты“. Карягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать. Пополз. Она снова трах. Уволокли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит: „Как тебя звать, товарищ?“ — „Василий“. — „Ну что - ж, покури, товарищ Василий“... и папиросу дает. Взял я папиросу, курю. А она меня подзвала к себе и руки на плечи положила: „Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий?... Сколько у вас коней, орудий, винтовок“... Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня: „Врешь! Правду говори, сукин сын!“... — „Не могу знать“, — говорю. — „А, так ты так?.. Всыпать ему пятьдесят!“... Всыпали. — „Ну?..“ Я молчу. Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке. Искровянила все лицо. „Увести его. Всыпать еще полсотни, а потом на сосиски“... Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только: „Ты,“ — говорят, — Иуда, проданся господам“... А тут вы подошли и, слава богу, освободили... Она, с комиссаром

сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их фамилия.

1 декабря.

Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказание Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошевую мебель — „побаловался немного“. Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в сенях бренчит на гитаре:

Расстреляли сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича
И все такое прочее...

2 декабря.

Я сказал: неразделенная жизнь... Я иду своею дорогой, Ольга—своим, неведомым мне, путем. Над нами разное небо, под нами не одна и та же земля. Она дышет Москвой, я — моей любовью к Москве. Она живет настоящим, я — будущим, если не прошлым. Может быть, я стал ей чужим, потому что далеким. Может быть, на ее суровые дни уже легла иная, темная тень... Но я верю: „Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть“.

3 декабря.

Из штаба армии приехал полковник Мейер. Блещат серебряные погоны, улыбается выхоленное лицо. Он курит сигару и говорит о штабных новостях. Я только и слышу: „Его превосходительство... Его

высокопревосходительство... Господин министр... Барон... Камергер"... И потом: „Блок... Соглашение... Левые... Правые... Париж... Япония... Америка...“ Он доволен, что в „курсе событий“ и что находится близко к „центру“. Докурив, он озабоченно наклоняется через стол:

— Как же так, дорогой?.. Вы ведь, кажется, без приказа перешли в наступление?

— Да, без приказа.

— Ай, ай, ай... Разве можно? Вы знаете, командарм недоволен... Я-то понимаю, все понимаю и высоко ценю, но, однако, по диспозиции...

— Какой диспозиции?

— Как какой?.. — он надевает пенснэ и с недоумением разглядывает меня: — По диспозиции вы должны были ждать в Микашевичах.

— Ждать кого?

— Его превосходительство командарма.

Мне надоело его пенснэ, надоел его приторный голос. Мне надоели штабы, министры и генералы. Но я сдерживаю себя. Могу ли я подать пример послушания? И я, как ученик, говорю:

— Виноват, господин полковник.

4 декабря.

Вреде обиделся за меня. Он долго ходит из угла в угол. Потом садится. Потом закуривает и, наконец, говорит:

— Юрий Николаевич, гоните их в шею.

— Кого?

— Да штабных этих... Только мешают. Если бы не они, мы бы были уже в Москве.

— Вы против армии?

Он сконфузился и молчит.

— Против армии, но за его высочество великого князя?

— За царя? Кто вам сказал, что я за царя? Я ни за кого. Я не занимаюсь политикой. Я сол-

дат. Я никогда не признаю „похабного“ мира и никогда не сниму погон. А на остальное мне наплевать.

Он горячится. Он чувствует, что в чем-то неправ, но не может осмыслить ошибки. Я улыбаюсь:

— Ах, Вреде, Вреде... Хорошо быть гусарским корнетом, звенеть шпорами, ужинать у Кюба и ухаживать за дамами в Павловске. Хорошо также рубить в атаке венгерскую кавалерию... Но плохо быть даже не белым, а просто „бандитом“, воевать в медвежьих углах, рядом с Федей, против Тетериных, под начальством какого-то Мейера... Этим и исчерпана революция? Да?

Он сердится и уходит. Честный и храбрый мальчик. За что он отдает свою жизнь?

5 декабря.

Сегодня трескучий мороз. Стынет дым, цепенеет дыхание. Галки, замерзая, падают на лету... Я живу у мадам Минькович. В низкой „зале“ тепло и пахнет жареным луком. Мебель в серых чехлах, в углу запыленная пальма и под зеркалом, на столе, большой фамильный альбом. В альбоме местечковые „коммерсанты“ и молодые люди американского типа—племянники из Нью-Йорка. Мадам Минькович боится погрома. Она произвела меня в генералы, кормит Федю фаршированной щукой и по вечерам, чтобы я „не скучал“, усердно играет Шопена. Мне странно слышать любимые вальсы здесь, почти в гостинице, почти на вокзале. Ольга играла их... Увижу ли я ее? Или так, в одиноких скитаниях, и окончится моя жизнь?

6 декабря.

Егоров рыщет по городу. Он не ест и не спит. Он обыскал еврейские лавки, перерыл дворы, подвалы и чердаки и даже заглянул на кладбище и в собор. Он мрачен и говорит угрюмо:

— Кто ее знает бесовку... Им бесам, кабы что... Креста на них нет. Ну, да я ее разыщу. Я ее из-под земли откопаю. Я ей кузькину мать покажу. Где это видано, чтобы баба сама из нагана стреляла? Мало что ли на это у них холуев?.. Вот оно, в Писании-то сказано: „И се жена“... Только не жена ведь она ему, а тьфу, содком, и ничего больше...

— Что же ты сделаешь с ней?

— Что сделаю? А уж мы с Федей придумаем что. Уж мы обмозгуем. Ведь такую и сжечь не грех.

Он стоит у дверей прямой, седобородый и строгий. Я знаю: позволить ему,—и сожжет.

7 декабря.

Мадам Минькович почти права... По улицам ходят патрули. Они следят за порядком. Но порядка нет,—много пьяных. Пьяные, трезвые, солдаты и офицеры, грабят. По всему городу идет беспросветное воровство, неприкрытый дневной грабеж. Вчера ко мне пришел врач, у которого „покупили“ аптеку. Он жалуется. Он говорит, что при коммунистах жилось не хуже: „Конечно, таскали в Че-ка... Ну, а теперь, при вашей свободе, не волокут в контр-разведку?“... В контр-разведке Егоров. Чем Егоров отличается от „чекиста“? Чем я отличаюсь от комиссара? Мы верим в разное, но по делам нашим нас не познать. Мы мазаны одним миром. Мы деремся между собой, а обыватель нас одинаково проклиняет, нас, белых и красных: „у хлопцев чубы трещат“. Но почему эти „хлопцы“ терпят нас, как рабы?

8 декабря.

Я раскрываю Евангелие: „И слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины“... Где наше воплощенное слово? Где наша истина,

наша божья благодать? „Егоров наврал, неизвестно за что воюем“. Я знаю, почему я вешаю их, но я не знаю зачем. В тылу фабрикуется царь, даже не царь, а царек, доморощенный и карикатурный Наполеон. В нем спасение России?.. Спасение генералов и бар. Спасение тех, кого с кровью выплюнул русский народ. Москва... Москва поругана и растоптана каблуком. Что мы дадим взамен? Иное, худшее поругание и такой же солдатский каблук? Или, может быть, сантиментальные фразы, бледную немочь новоявленных Мирабо?.. „Чорт меня дернул родиться русским“.

9 декабря.

Да, „чорт меня дернул родиться русским“. „Народ-богоносец“ надул. „Народ-богоносец“ либо раболепствует, либо бунтует; либо кзется, либо хлещет беременную бабу по животу; либо решает „мировые“ вопросы, либо разводит кур в ворованных фортельяно. „Мы подлы, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы“. В особенности, скопцы. За родину умирает горсть, за свободу борются единицы. А Мирабо произносят речи. Их послушать, — все изучено, расчислено и предсказано. Их увидеть, — все опрятно, чинно, благопристойно. Но поверить им, их маниловскому народолюбию, — потонуть в туманном болоте, как белорусский крестьянин тонет в „окне“. Где же выход? „Сосиски“ или нагайка? Нагайка или пустые слова?

10 декабря.

Мадам Минькович стучится ко мне:

— К вам пришли, господин генерал.

Я оборачиваюсь. На пороге молодая женщина в белой папaxe. У нее серые, на выкат, глаза и круглое, нарумяненное лицо. Она нерешительно подходит ко мне.

— Вы удивляетесь? Я Тетерина.

Я не удивляюсь. Она не могла не прийти: она загнана и окружена, как волчица. Я подвигаю ей стул:

— Садитесь.

Она вынимает платок и плачет. Я молчу. В дверях бесшумно вырастают Егоров и Федя. Они жадно, в упор, разглядывают ее.

— Я пришла... Я пришла предложить вам свои услуги...

— Какие услуги?

— Я хочу служить белым.

— Вы были агентом Че-ка?

Она говорит сквозь слезы.

— Заставили... Поневоле...

— Ваш муж повешен?

— Он мне не муж...

Горячий обруч сжимает мне горло... Она своею рукой расстреливала наших солдат. Она перед смертью издевалась над ними. Мы повесили ее мужа. А теперь она предает своих.

— На службу я вас не приму.

Она с улыбкой опускает глаза.

— Напрасно... Я готова на все...

— На все?.. Послушайте, вот что. Предлагаю на выбор. Либо я вас отдам вот им, либо... либо вы застрелитесь сами. Решайте.

Егоров и Федя понемногу придвигаются к ней. Она не верит. Она говорит:

— Вы шутите?

— Нет.

— Не может этого быть...

— Ординарцы!

Она встала. Она поняла, наконец. Она не плачет и не улыбается больше. И вдруг, с размаху, падает на пол. Бьется полное, обессиленное внезапно, тело. Я говорю:

— Уберите ее.

Егоров подходит и толкает ее сапогом.

- Вставай, бесовка... Пора.
А Федя подмигивает единственным глазом:
— Пожалуйста, мадам, бриться.

11 декабря.

„Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солоната будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль“. Так сказано в Евангелии от Луки. Соли у нас не занимать стать. Крепкой, соленой соли. Довольно ее и у них, у наших непримиримых врагов. С точки зрения спокойного кресла, чистых комнат и уравновешенной жизни, мы такие же разбойники, как они. Я уже сказал: „Мы мазаны одним миром“. Пусть так. Но я спрашиваю: что лучше, благоденственное, то-есть, в сущности, подлое, житие или наша греховность? Кто ближе к истине, святой Касьян или святой Николай? Касьян в ризах, в благочестии и в молитве. Николай в рубище, в грязи и в крови. Но ведь Николая празднуют девять раз в один год. Что мы знаем? Разве нам дано знать? „Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей“.

Федя на кухне ухаживает за судомойкой. Судомойка толста и стара, но Федя не очень разборчив. Он сегодня принарядился, смазал маслом пробор и вымылся „березовым кремом“, — „для красоты“, как он говорит. Он томно перебирает струны гитары, а судомойка хихикает визгливым смешком, У Феде душа спокойна.

12 декабря.

Красные перешли в наступление. Я иду к мосту. Его защищают взятые нами красноармейцы. Ими командует Вреде. На другом берегу реки обнаженный кустарник, низкая и густая заросль. В этой заросли стрелковые цепи. Красные постреливают лениво, точно нехотя, точно не зная зачем. На мосту

пулеметы. Один из пулеметчиков, высокий рыжий детина в обмотках, узнает меня и весело говорит:

— Здравия желаю, господин полковник.

— Как живете?

— Живем.

— У кого лучше?

— У нас.

У кого, у нас? У нас или у них? Ведь и те и другие — мы. Я спрашиваю:

— Почему лучше?

Он ухмыляется во весь рост.

— Как же можно? Знаем, по крайней мере, за что воюем.

— За что?

— За Рассею.

За Россию. Точь-в-точь, как Егоров. Значит, Россия не праздное слово, не безжизненное, на школьных картах, название. Значит, не я один кровно привязан к ней. Значит, голос ее звучит и в этих простых сердцах. Россия... Ей, матери нашей, наша жизнь и наша действенная любовь.

13 декабря.

Красные атакуют. Снова рвутся гранаты. Снова повизгивает шрапнель. Голубка насторожилась и повернула морду к реке. Я успокаиваю ее и медленно еду на батарею. Но вот близко, над головой, заскрежетало, кружась, колесо. Сверкнул огонь. Пахнуло горячим дымом. Я откидываюсь невольно назад и опускаю поводья. Голубка взвивается на дыбы... Меня догоняет Вреде.

— Юрий Николаевич, мы держаться не можем. Кровь бросается мне в лицо.

— Почему?

Но он отвечает спокойно:

— Не верите? Посмотрите сами.

Я посмотрел. Наши красноармейцы дерутся храбро,—не хуже улан. Они не могут не драться: крас-

ные победят — расстреляют. Но много ли их осталось? Но цепи уже на мосту. Но уже за горкой, на батарее, раздается „ура!“...

14 декабря.

Итак, совершилось. Мы уходим. Чего я достиг?.. Позади — родимая глушь, впереди — чужая граница. Где Москва? Где мечты о Москве?

Вот опять запорошенный инеем бор, звон удил и ровный топот копыт. Вот опять пофыркивает Голубка и поскрипывает кожей седло. Вот опять привычное, — нет, новое, столетнее, утомление. Уланы не поют больше... Я обернулся на их немногочисленные ряды. Вреде едет понуро, нахохлившись в летней шинели. Так же понуро едет Егоров. Один Федя не теряет бодрости духа. Он поднял меховой воротник. Ему тепло. Он мурлычит себе под нос:

Как были мы на бале,
На бале, на бале,
И с бала нас прогнали,
Прогнали по шеям...

Я командую:
— Рысью... ма-арш!..

3 июля.

Груша сидит на траве. Она в розовой кофте. Вечереет. В теплом воздухе комариный звон.

— Груша, узнала?

— Узнала.

— Сколько их?

— Да трое всего. Стоят в четвертом дворе, направо. С утра самогонку пьют.

— Городские?

— Городские, из Ржева. Один рыжий, фабричный. Другой лохматый, будто из духовного звания. А третий вроде, как писарек.

— Из исполкома?

— Да, гады... С бумагой, и винтовки при них. Сказывают: утят считать будут.

Она смеется, — скалит белые зубы. И, рассмеявшись, закрывает локтем лицо.

— Груша, не страшно?

— Чего страшно-то?.. Я их и сама придушу, Ночью подкрадусь и придушу. Всем троим цена три копейки.

— А расстреляют?

— Не расстреляют, небось... Я в лес убегу. К тебе. Я сажусь рядом с ней. Она потупилась. Потом несмело отстраняет меня рукой:

— Барин... Голубчик... Увидят...

4 июля.

Мы четвертую неделю в лесу. У меня двадцать шесть человек, — „шайка бандитов“. О нас сложилась легенда. Говорят, что нас две дивизии, что мы взяли Калугу, что мы идем на Москву. Стоустой молвой разносится слух, что пришла, наконец, своя, мужицкая, власть и карает „бесов“. Вся округа нам верит. Я бы мог поднять и Столбцы, и Можары, и Зубово, и Сычевку. Но я не знаю времен и сроков.

Я сегодня встал на заре и пошел без дороги. Под ногами папоротник и мох, над головою прозрачное, омытое ночным дождем, небо. Еще утро, еще солнце не греет, а уже гудят над дикой малиной пчелы. Я слежу за ними прилежным глазом. Они живут короткое лето, мы — короткую жизнь. Они трудятся, мы — воюем. Они оставят медовые соты, мы... Что мы оставим?..

Я „зеленый“. Я скрываюсь в зеленом лесу. Я счастлив. Я счастлив; потому что слуга России.

5 июля.

Поздним вечером, огородами, мы подходим к Столбцам: я, Егоров и Федя. Сильно пахнет укропом и коноплей. Сияет луна. В лунном свете высокая тень — Груша в белом платке. Она шепчет:

— Сюда идите... Сюда.

Она проводит нас напрямик, задами. У четвертой избы, направо, я осторожно стучусь в окно.

— Кто там?

— Выдь на минутку, хозяин.

Щелкнул засов, из-за двери просунулась голова. Я узнал „лохматого из духовного звания“. Он огляделся вокруг и почесал поясницу.

— Товарищ из Ржева?

— Да... А ты кто такой?

Я не ответил. Я поднял руку и, не целясь, нажал курок. Блеснуло желтое пламя, по крыльцу пополз дым... Я не вошел. Вошли Егоров и Федя. Все так же сияет луна... На пустынной улице, у ворот, стоит Груша. Ее губы полураскрыты. Она дышит часто и тяжело. Но она не уходит. Я говорю:

— Иди домой, Груша.

Она вздрагивает:

— Нет... Чего уж?.. Я обожду...

6 июля.

Егоров мне говорит:

— Мы вошли, а он как бросится на меня... Руку прокусил, рыжий чорт... Ну, этого Федя живо вывел в расход. А другой, паршивец, на полати залез, трясется: — „Простите, православные, Христа ради“... Я говорю:— „Конец твой пришел, богу молись, сукин сын“... А он все свое:— „Верой и правдой буду служить, книжки буду для вас печатать“... У него морда в крови, и глаз на нитке висит, а он про книжки толкует. Смехота!.. Тоже, сочинитель нашелся...

Полдень. Парит. В лагере пусто. Кто на часах, кто в разведке, кто спит. В тени, под широким кленом, „бандиты“ играют в „акульку“. Заправила, разумеется, Федя. Он посмеивается, подмигивает и жулит. Он никогда не остается „акулькой“: „уж такой, значит, фарт“... Егоров угрюмо смотрит. Смотрит он долго, потом с негодованием плюет:

— Тьфу! Табачищем воняют, картами дьявола тешат. Нехристи... Ужо погодите: будете в вечном огне гореть. Не простит господь грехов ваших!..

8 июля.

Иван Лукич—бывший советский „работник“. Вчера он заседал в „Исполкоме“, зубрил для „экзаменов“ Маркса и беспрекословно повиновался „Вцику“. Сего-

дня он с нами, в лесу. Он невысокого роста; но широк и крепок в плечах, — ладно скроен, неладно шит. Он сын дьячка, выгнанный за „неблагонадежность“ семинарист. Он пришел ко мне один, без оружия, миновав сторожевые посты, и начал с того, что заявил мрачно:

— Я должен предупредить, что я большевик.

Я с любопытством взглянул на него.

— Хочу стать зеленым.

— Большевик и — зеленый?

— Да. Довольно побаловались. Хорошего понемножку... Ведь рано или поздно, все равно ваша возьмет.

— Чья „наша“?

— Да мужиков...

Мне понравилась его откровенность. Я дал ему браунинг и винтовку и, платя его же монетой, сказал:

— Вы знаете, мы не только вешаем, но и грабим.

— Коммунистов?.. Так им и надо.

— Почему надо?

Он нахмурился.

— Я поверил им, как дурак... А они все наврали. Подлецы. Никому жить не дают. В свой карман норовят, — и только.

9 июля.

Груша приходит ночью, — босыми ногами пробирается по тропинкам. Меня волнует блеск ее глаз. Меня волнует ее молодое тело. В ней избыток неистраченных сил, неутолимая, почти звериная жажда. Покоем дышит земля. Тихо светится Млечный путь. Спят, как дети, „бандиты“. А в нас — палящий огонь.

Но Груша чужая. Мне чужд ее наивный язык: „Касатик... Соколик“... Я вспоминаю Ольгу. И мне кажется, что это не Груша, а Ольга обнимает меня, что это не Груша, а Ольга ищет моего поцелуя. Ольга... Где дно колодца, разделившего нас?

10 июля.

„И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. Такое землетрясение! Так великое!.. Но гармоники „наяривают“ малиновым звоном, и парни горланят разухабистые частушки; но у околицы дерутся беловолосые, конечно, вшивые мальчуганы; но курится самогонка; но потрескивает и каплет смолой лучина; но матерная ругань висит топором. Те же расковырянные поля, те же неезженные проселки. А главное там же „зимуют раки“. Над этими „раками“ я бьюсь давно и бесплодно... Где „молнии, громы и голоса“? Их нет. Есть вседержавная, всемужицкая, всероссийская порка, та самая, какая была при царе. И из-за этого пролились моря крови?..

Отец Груши, Степан Егорыч, „средняк“—прежде зажиточный, а теперь полу-разоренный крестьянин. Я спросил его, почему деревня не поддержала „белых“? Он задумался:

— Многоуважаемый, как бы это тебе получше растолковать? Тут не только в баловстве дело. Ты вот что пойми. Я гол, как сокол, и у меня паутина над образами. Зато сам себе барин. А придут генералы, может быть, и я разживусь, да не хозяином в своей хате, а холуем на барском дворе. Вот то-то оно и есть.

— Но ведь тебя попрежнему порют?

— Порют. Да кто порет-то? Ведь свои. Свой брат, фабричный или мужик... Мы их гадов, небось, одолеем. А бар, пожалуй, не одолеть...

Не в помещичьей ли усадьбе „зимуют раки“?

11 июля.

Иван Лукич ходил к Духовщине. Он докладывает:

— Я вошел и говорю:—„Товарищи, руки вверх!“.. Мужики попадали на колени, а заведующий ключи

мне сует:— „Вот ключи, господин атаман“... Я приказал выбрасывать товар за окно: ситец, гвозди, кожу, подошвы. Потом говорю мужикам:— „Бери, ребята... Все ваше“. Они не верят: боятся. Я одному дал по шее:— „Бери, дубина... Дарю“. Стали расхватывать, подводы грузить. А заведующий, партийный работник, стоял-стоял, да как бросит шапку на пол:— „Эх, елки зеленые, чем я хуже других?“.. И тоже стал подводу грузить. Коммунисты?.. Знаю я их. Все они таковы.

Он принес миллиард советских рублей. Я положил их в денежный ящик. У ящика часовой. Я опасуюсь „бандитов“. Не доглядишь, у своих украдут. Я мог бы тоже сказать:— „Зеленые? Знаю я их... Все они таковы“.

12 июля.

Груша мне говорит:

— А когда Ржев будешь брать?

— Ржев?

— Ну да. Ведь не век же на печи прохлаждаться...

— На печи?..

Она смеется.

— Чем не печь? Живете, как в раю у Христа. Все у вас есть: и лошади, и коровы, и овцы, и самогонка. Кушаете, как бары, на скатертях. Отдыхаете, как купчихи, на шубах... Ишь как этот одноглазый отелся...

— Федя?

— Ну да, который вешатель твой.

— А тебе, Груша, завидно?

— Не завидно, а православные ждут.

— Ждут чего?

— Когда на Москву пойдешь.

Я смотрю на нее. Вот она рядом со мной, босоногая, в розовой кофте. В черных глазах ни тени смущения: надо идти на Москву.

— А почему мужики не идут?

- Силы их нету.
- Ну и у нас ее нет.
- У тебя?.. У тебя силы нет?..

Она хочет и не умеет сказать. Она верит: для нее со мной все возможно. Ведь судьба „назначила меня к бою“.

13 июля.

Я к вечеру возвращаюсь в лагерь. Садится солнце, в лесу сгущается мрак. Издали доносятся голоса. На поляне, под „акулькиным“ кленом, костер. Толпятся „бандиты“. Полыхают красные языки.

— Егоров!

Он подбрасывает поленьев в огонь. Потом, не торопясь, подходит ко мне.

— В чем дело, Егоров?

— Товарища провокатора жгем.

— Что?..

Я взглянул. Я только теперь заметил, что у клена стоит человек. Он привязан. Я узнаю Синицына, крестьянина из Можар. Сквозь дым белеются голые плечи. Торчит взлохмаченная, черная, закинутая вверх борода.

— Мерзавцы!..

— Никак нет, господин полковник. Что же с ним, с окаянным делать? Запороть, так время уйдет. Повесить, так людям зорно будет... Вот и жгем помаленьку.

Я отвернулся. Я ушел без оглядки в поле. Уходя, я услышал:

— Бороду, Федя, бороду ему подпали.

14 июля.

Федя любит животных. Он с любовью ухаживает за лошадьми, с любовью доит коров. „Бессловесная тварь“ ему друг. Он подобрал в деревне щенка,

Каштанку, и за пазухой отнес его в лагерь. Щенок крохотный, белый, с желтыми подпалинами и брюхом. Он неуклюже ползает по траве и тычется носом в Федин сапог. Федя, как нянька, берет его на колени. Он вычесывает блох своим гребешком и, вычесав, с мылом моет его. Тихо и знойно. Федя поет полесному, по-псковски:

Как на горке, на горы,
Там дярущя комары,
Два дярущя,
Два смяющя,
Два убитыи ляжаць...

15 июля.

Меня разбудил летний дождь. Светает. По-лесу идет тихий шорох. Все влажно. Все хмуро. Я встаю. У палатки спит часовой. Спят в повалку и остальные „бандиты“. Им „кап што“... Они давно не знают тревог. Я вдыхаю запах дождя. Я радуюсь его невнятному шуму. Я пью густой и прохладный воздух. В забытьи впадает душа. И вот опять, — нет лагеря, нет меня, нет „бандитов“, нет леса. Есть вечная и единая, благословенная, жизнь. И где-то есть Ольга.

16 июля.

Груша закрыла руками лицо и хохочет. Трясутся плечи, волнуется высокая грудь. Я спрашиваю:

— Груша, чего?

Она захлебывается от смеха.

— Вот уморушка... Вот так умора... Вешатель-то твой, Федя Мошенкин этот...

— Ну?

— Кандибобером ходит... Аграфеной Степановой величает, ленту мне давеча подарил... А сегодня пристал, серебряный целковый сует. А я его раз по щекам... Так и покатился, сердечный.

— Груша, зачем?

Она перестала смеяться и строго смотрит мне прямо в глаза:

— Зачем?.. Разве я гулящая девка?.. А что с тобой я гуляю, так не моя в том вина...

— А чья-же?

Она молчит. Вот и соперник у меня: Федя.

17 июля.

Вреде ходил за Калугу и под Алексиным взорвал комиссарский поезд. Он вернулся с добычей: много денег, много бриллиантов и три трофея, — пулемет, печать „Губ-чека“ и орден Красного Знамени. Федя доволен: „Была манишка и записная книжка, а теперь и попросить на чаек не грех“. Я послал его в Москву за валютою. Валюту я раздам окрестным крестьянам. Они, конечно, зарюют ее в лесу.

У палатки Иван Лукич спорит с Вреде. Он курит и говорит:

— Вы вот думаете, что вы поручик. А поручиков давно уже нет. Были и быльем поросли.

Вреде сердится:

— А вы большевик.

— Ну так что же, что большевик?.. У вас труха в голове: честь, Россия, народ... А мне плевать на ваши идеи. Я беру жизнь, как она есть, без прикрас.

— Россия — прикраса?

— Да, и Россия прикраса. Вы не думайте о ней вовсе, а делайте свое дело. Муравейник велик. Мы, муравьи, каждый свою соломинку тащим.

— Вы какую?

— Пока ту же, что вы. А время придет, порознь пойдем.

Вреде насмешливо замечает:

— Вы, разумеется, в Коминтерн?

— Не в Коминтерн. Коминтерн лавочка. В Коминтерне каналы... Я хутор куплю. А вы... Вы из бывших людей. Слопают вас.

— Кто слопают?

— Да такие, как я.

Вреде обиделся и уходит. В знойном воздухе предчувствуется гроза. Жалобно, скучая без Федя, повизгивает Каштанка.

18 июля.

Иван Лукич опять спорит с Вреде. Я слышу его семинарский бас:

— Белые просто дрянь. И пора вам, ваше благородие, это понять.

Вреде, как всегда горячится:

— Белые дрянь? Превосходно... Но почему? Потому, что грабили, расстреливали, пороли? А зеленые? Разве не грабят?.. Вот я ограбил поезд. Не порют?.. Вот вы выпороли вчера Каплюгу. За что?.. За пьянство. Разве за пьянство можно пороть?.. Не расстреливают?.. Да, конечно, потому что жгут на кострах... Почему же вы ругаете белых?

— Я не ругаю. Я говорю, что они мертвецы, что от них трупом воняет: его высочествами да золотопогонными генералами. А зеленые дело другое. Зеленые строят новую жизнь.

— Совдепскую?

— Нет, свою. Ну, а если даже совдепскую? Чем совдеп хуже земской управы?..

Длится нудный, нескончаемый спор. О чем они спорят?.. Белые мертвецы, но и зеленые не ангелы божии, но и красные поваленные гроба. Новая жизнь?.. Она строится где-то. Но где? Но кем? Но какая?.. Где всадник с мерой в руке?..

19 июля.

Я сегодня не мог уснуть. Затрепетал в орешнике ветер. Задрожала и заколыхалась палатка. Загудел вершиною клен. Потом все умолкло. Но вот разверзлись, как уголь, черные небеса. Бледным пламенем опоясался лес, и еще темнее стало в чаще. И сейчас же грозно загрохотали раскаты, и сильно и мягко застучал теплый дождь. Из темноты вышел Егоров:

— Илья пророк, батюшка, колесницей грохочет. За Иудой гоняется в облаках.

— Почему за Иудой?

— А как же? Знать, Иуда снова из ада бежал. Вот господь за ним и посылает Илью. Уж Илья ему спуску не даст.

Он крестится двуперстным крестом и долго молчит. Потом зевает.

— Дождик - то, дождик... Эка, прости господи, благодать!

Я говорю:

— А Синицын?

— Что-ж Синицын?.. Синицын без покаяния помер. Теперь с Иудой, в аду.

20 июля.

Мокеич—старый „бандит“, четыре года скрывающийся в лесу. Я послал его на разведку. Он был во Ржеве и в Вязьме. В Вязьме его поймали, но он бежал из „Че-ка“. У него „карточка“ в синяках, на спине фиолетовые рубцы и один из пальцев отрублен. Его „выспрашивали“, как он говорит. Он докладывает, что красные готовятся к наступлению. Вот уж поистине, стрелять из пушек по воробьям. Нас двадцать семь человек. Правда, нас завтра может быть несколько тысяч. Но несколько тысяч крестьян не

войско. Но из нашей, тлеющей, искры не возгорится бурное пламя, не разольется всероссийский пожар. „Старики“ находят, что следует „покедова что“ обождать. Я ждать не хочу, но против рожна не попрешь.

Мокеича лечит Егоров. Он поит его самогонкой и растирает рубцы „целебной травой“. Мокеич охает. Он клянется, что отрубит не один, а сто один палец... Он принес московскую прокламацию. В ней сказано: „В Ржевском уезде бесчинствует шайка бандитов, наемников Антанты и белогвардейцев. Товарищи, Республика в опасности! Товарищи, все на борьбу с бандитизмом! Да здравствует РСФСР!..“ Я читаю вслух это воззвание. Егоров слушает и плюет:

— И не выговоришь: Ресефесер... Чего таиться? Говорили бы, дьяволы, прямо: Антихрист.

21 июля.

Груша нашла портрет Ольги. Ольга в белом кружевном платье стоит под зонтиком на дорожке. Я люблю этот домашний, такой простой и такой похожий портрет. Это — Сокольники. Это — невозвратимые дни.

— Она кто же будет тебе? Сестра?

— Нет, Груша, у меня нет сестры.

— Значит, невеста?..

Она вспыхнула. По лицу пробежала тень.

— Невеста иль не невеста, а что барыня, так видать... Куда уж мне, коровнице, с ней тягаться?..

— Груша...

— Верно в хоромах живет, золотые наряды носит, серебряными каблучками стучит...

— Груша, молчи...

— Знаю я... Любится со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню... Эх, барин, ведь так?..

Что могу я ответить? Я молчу. Она разгадала мое молчание:

— Стало быть, скучаешь о ней...

И вдруг говорит очень тихо:

— Ну что ж... Уж такая, видно, моя судьба...

22 июля.

Груша запыхалась, — бегом бежала от самых Столбцов:

— Каратели пришли... С пулеметами... Человек полтора ста...

— Чон?

— Да... Старика Кузьму, — помнишь, у которого те трое стояли, — сейчас к Иисусу, разложили, стали плетью пороть. Порют, а он „Отче наш“ читает... Начальник ихний как заорет на него: — „Чего молишься, старый хрыч?... Сознавайся...“ Отпороти. Кузьма дотащился домой, на полати залег и сына позвал, Мишутку. „Мишутка, — говорит — это ничего, что выпороли меня, пушай и совсем запорют, а ты винтовку бери, бей их, бесов. Убьют тебя. Серега пойдет“. А каратели — шасть по дворам, коров, овец, лошадей, даже собак считают, оружия ищут, все допытываются, кто тех гадов убил. Стон на деревне стоит. Сказывают, всех стариков пороть будут, а молодых так в Сибирь ушлют... Господи неужто погибнем, как мухи?..

Ее глаза горят сухим блеском. Губы сжаты. Она с тревогой ждет моего ответа... Она знает его заранее.

— Груша, жди меня ночью у Салопихинского ключа.

Она поняла. Она обрадовалась и шепчет:

— Бей их. Бей... Чтобы ни один живым не ушел, чтобы поколеть им всем, окаянными...

23 июля.

Я отобрал пятнадцать самых надежных „бандитов“ и разделил их на два отряда. Одним командую я, другим Вреде. Я пройду в Столбцы от Салопихинского ключа, Вреде — с большой дороги. В 2 часа ночи мы выступаем.

Я оставил своих людей во ржи и один, межою, иду в деревню. Ярко, перед рассветом, сверкают звезды. У околицы часовой.

— Кто идет?

— Не видишь, ворона?

Я в шлеме и красноармейской шинели. На рукаве кубики — командный состав.

— Где штаб полка?

— Направо, у церкви, товарищ.

Не деревня, а сонное царство. Спят „каратели“, спят и крестьяне, — готовятся к поголовной порке. Мне вспоминается отец Груши: „Да кто порет-то? Ведь свои... Свой брат, фабричный или мужик...“ На завалинке, у церковного дома, огонек папиросы. Я вынимаю ноган.

— Здесь штаб полка?

— Здесь. А ты кто такой?

— Товарищ.

— Товарищ?... Документы есть?

Звякнули шпоры, — он встал. Тогда я говорю:

— Руки вверх?!

Я увидел, как он схватился за шашку. Но я выстрелил в грудь, в упор. Выстрелив, я вхожу в сени. Скрипнула дубовая дверь, желтым светом ослепили глаза. На кроватях — „товарищи-командиры“. Их трое. На столе самогонка. Я опять говорю:

— Руки вверх!

Я стреляю на выбор, слева, по очереди и в лоб. Я целюсь медленно, внимательно, долго. Но уже на улице шум. Это Вреде. Это Егоров. „Ура!.. Ура!..“

Ура!..“ Я выхожу на крыльцо. По деревне мечутся люди, без винтовок, в одном белье. Во все горло поют петухи.

24 июля.

Вреде арестовал „военкома“ и привел его в лагерь. „Военком“, молодой человек в пенсне, из бывших студентов. Он бос: сапоги снял Мокеич. Он вздрагивает и озирается исподлобья. Я спрашиваю: — Ты член коммунистической партии?

Он опускает глаза—не смеет признаться. Я смотрю на худое, иссиня бледное, пепекошенное испугом, лицо.

— Я повешу тебя.

Он падает в пыль, на колени. Он на коленях подползает ко мне.

— Товарищ!.. Товарищ полковник!.. Пощадите!.. Ведь я еще молодой..

— Из молодых да ранний... — перебивает его Егоров. — Вставай!.. Нечего зря болтать языком.

— Я молодой... Дайте мне послужить..

— Кому послужить?

— Народу...

— Народу хочешь служить? — говорит Егоров. — Бес. Сукин сын.

„Бандиты“ смеются. Они рады: „военком“, да еще студент... Свалилось с длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из глаз покатались слезы:

— Товарищ полковник!.. Товарищ полковник!..

Я вернулся в палатку. И из палатки услышал визг. Так не кричит человек. Так визжит подстреленный заяц.

25 июля.

За лагерем бежит речка, приток Днепра, Взмостя. Держась рукой за лозняк, я спускаюсь к заводу, —

к тихой воде. Осока царапает мне лицо, нога скользит по затонувшей каряге. Я плыву по течению. Наперерез плывет уж. Он поднял желтую, с раздвоенным жалом, головку и ныряет в поднятых мною волнах. Я смотрю на него. Я смотрю на высокое солнце, на серебряный, струящийся луч, на зеленый, поросший ольхою, берег, и не верю, не могу поверить себе. Неужели завтра то же, что и сегодня? Неужели завтра снова „клюквенный сок“?

26 июля.

У меня две-три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Евангелие, рассказы Пушкина, стихи Баратынского. Сегодня я раскрыл наудачу:

Но ненастье заревет,
И до облак свод небесный,
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный.
Бедный дух! Ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, кружит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Не о нас ли сказаны эти слова? Не „пух“ ли мы? Не „пух“ ли повешенный „военком“, сожженный Синицын, запоротый до полусмерти Кузьма? Не „пух“ ли Федя, Егоров, Мокеич, мы все, зеленые, красные, белые, — навоз и семя России?..

В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

27 июля.

Приехал из Москвы Федя. На нем новый, синего цвета, „педзак“ и щеголеватые бриджи в клетку. В этом наряде он похож на берейтора из провинциального цирка. Он доволен собой. Он то и дело вынимает зеркальце из кармана и приглаживает пробор: „кандибобером ходит“... Я спрашиваю его:

— Разменял?

— Разменял, господин полковник.

— Сколько?

— Две тысячи пятьсот фунтов.

Он рассказывает про привольную московскую жизнь. „Бандиты“ окружили его. Они слушают с упоением. На вершинах деревьев золото вечернего солнца. Внизу сумерки. Хороводами жужжат комары.

— Люди, как люди, и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на Роль-Ройсах возят. Одним словом, Кузнецкий мост. Выйдешь, часика этак, в четыре, — дым коромыслом: рысаки, содкомы, нэпманы, комиссары... Ни дать, ни взять, как до войны, при царе. Вот она, рабочая власть... Коммуной - то и не пахнет. В гору холуй пошел. Жи-ивут!.. А мы, сиволапые, рыжики в лесу собираем... Эх!..

Егоров морщит седые брови:

— Помалкивал бы в тряпичку, Федя. Соблазн.

— А что?.. В Москву захотелось?

— Язва, отстань... Бесом стал. Бесов тешишь.

Федя смеется. Смеется и беспалый Мокеич, и выпоротый недавно Каплюга, и Титов, и Сенька, и Хведощеня, и вся лесная, зеленая братия. Всем весело. Всем завидно. Завидно, что где-то, за тридевять земель, в далекой Москве, „в гору холуй пошел“ и „люди живут по-людски“

„По-людски“: „девиц на Роль-Ройсах возят“... Я спрашиваю себя: семя мы или только навоз?

28 июля.

Иван Лукич казначей. Он пересчитал сегодня фунты и говорит мрачно:

— Вот мерзавцы... Украли.

— Много?

— Триста пятьдесят фунтов.

Домашний вор — худший вор. Я приказываю выстроить „шайку“. „Бандиты“ построились в три ряда, на поляне, у „акулькина“ клена, там, где жгли Синицына на костре. Моросит мелкий дождь.

— Смирно!

Они по-солдатски повернули глаза направо и замерли в ожидании. Я говорю:

— Ночью украли деньги. Кто украл, выходи.

В заднем ряду поднимается шум. Я слышу, как Каплюга вполголоса говорит:

— Чьи деньги-то? Разве не наши?... Как в набег, так „за мной“, а делиться, так и врозь табачек... Правильно, товарищи, или нет?

Каплюга — бывший матрос. Но он не „гордость и краса революции“, а пьяница, разбойник и вор. Я взял его в плен в Бобруйске.

— Каплюга.

Он не отзывается, — прячется за чужие спины. Я повторяю.

— Каплюга.

Он медленно, нехотя, выходит из строя. Руки в карманы, шапка сдвинута на затылок. Он покачивается. Он пьян.

-- Шапку долой!

-- Зачем? И так постою. Не в божьей церкви, небось!..

Я сильно, с размаху, ударил его в лицо.

— Молчать! Ты украл?

Он вытирает кровь рукавом и бормочет:

— Украл?.. И не украл даже вовсе... Просто взял... Свое взял, господин полковник.

- Свое?
- Так точно, свое...
- Повесить.

Егоров и Федя подходят к нему. Попрежнему моросит надоедливый дождь.

29 июля.

Меня гложет лесная тоска. Я в тюрьме. Не ветви, а узорчатая решетка. Не шелест листьев, а звон кандалных цепей. Не лагерь, а четыре голых стены. Нет, не выйти из мелового круга: Федя, Егоров, Вреде. Нет, не разорвать сомкнувшегося кольца: плети, виселицы, расстрел... „Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог: ждал сострадания, но нет его, — утешителей, но не нахожу...“ Где Ольга? Что с нею?

30 июля.

Собирайтесь, девки, все,
Я нашел трубу в овсе...
Труба лыса, без волос,
Обсосала весь овес...

Федя полулежит на траве и пробует гармонику-итальянку. Он в бриджах и хромовых сапогах.

— Федя.

Он вскакивает.

— Слушаю, господин полковник.

— Успокоились?

— А то как же?.. Вот выпороть бы еще Титова да Хведощеню, так и совсем бы за ум взялись...

— Они воровали тоже?

— Никак нет... А все-таки... На всякий пожарный случай.

Он гладит Каштанку. Каштанка, играя, старается укусить ему палец. Федя смеется:

— У, беззубая... У, животное... А с нашим братом, господин полковник, иначе нельзя. Учить нас надо. Малохольный мы, господин полковник, народ... Только о себе и мечтаем.

31 июля.

Вреде и Иван Лукич помирились. Они больше не спорят: каждый думает, что он прав. Но Иван Лукич „шутильник“, по выражению Феди. За обедом он говорит:

— Значит, ваше благородие, вы теперь спец?

— Я спец?.. По какой это части?

— По дамской.

Вреде краснеет.

— Что вы хотите этим сказать?

— А вот, Грушенька эта... В розовой кофте... Жанну д'Арк из Столбцов... „Узнаю коней ретивых“... Как сказал господин поэт, Александр Пушкин.

Вреде опускает глаза в тарелку. Мне жаль его. Я заметил: ему нравится Груша. Но он застенчив. Он не смеет к ней подойти. Он не знает, что и как ей сказать. Он барин... Может быть, она действительно кажется ему Жанной д'Арк?

Федя подает на подносе чай. Поднос старинный, серебряный, с чернью. Его „покупил“ в одном из „совхозов“ покойный Каплюга. Иван Лукич продолжает:

— А вы бы конфеток ей поднесли, сладких, дворянских, от Абрикосова или Сиу. Или вот, духов от Брокера... И вообразили бы, что она не мужичка, а вдруг княгиня или, по крайней мере, генеральская дочь...

— Аграфена Степановна? — щурит Федя единственный глаз. — Да если ее нарядить, так ведь она всех княгинь за пояс заткнет, так ведь она первой красавицей будет... Не девка, а настоящий бутон, господин поручик.

Аграфена Степановна... Груша... Я ее не люблю. Но делиться ею не буду ни с кем.

1 августа.

Груша ночью прокралась ко мне. Она обнимает меня и шепчет:

— Слава богу, погубил ты их, проклятых бесов. Только боязно: вернутся обратно...

Да, вернутся обратно. Да, сожгут Столбцы и не оставят камня на камне. „Каратели“ умирят повсюду. Уже киргизы хозяйничают под Духовщиной. Уже китайцы расстреливают в Можарах. Уже „работает“ в Сычевке „Че-ка“. Что делать?

— Возьми ты меня, Христа ради, с собою...

— Куда?

— Куда хочешь... В Москву.

Опять Москва. Опять ни тени смущения. Опять нерассуждающая уверенность в своих, — в моих, — силах. Но вот лицо ее потемнело:

— А та... А барыня... Где живет?

— В Москве.

— В Москве...

Она плачет. Лютятся женские, обильные слезы.

Мне скучно. Я говорю:

— Груша, а Вреде?

— Офицерик - то, баринок - то этот?... Мало их, что ли? Липнут, точно мухи на мед. Для баловства они это, стоялые жеребцы...

Я знаю: она целиком со мною. Но что я могу? Ведь, может быть, завтра не будет Груши, не будет меня... Я целую ее. От нее пахнет сеном.

2 августа.

Иван Лукич — фабричное производство. Таких, как он, Россия ежедневно штампует десятки. Но он не нашего штампа. Мы выросли в парниках, в тюрьме или в „вишневом саду“. Для нас книга была открытием. Мы знали Ницше, но не умели отличить

озимых от яровых; „спасали“ народ, но судили о нем по московским „Ванькам“; „готовили“ революцию, но брезгливо отворачивались от крови. Мы были барами, народолюбцами из дворян. Нас сменили новые люди. Они „мечтают“ единственно о себе.

Вечер. Теплится восковая свеча. Иван Лукич ночует сегодня в палатке. Он зеваает, потом говорит:

— Хутор куплю, заведу голландских коров, лен посею... И женюсь на богатой.

— Да ведь вас сперва на „сосиски“...

— Не беспокойтесь. Я их рыбе слово знаю... Почему я от них ушел? Очень просто. Мне все равно: Совнарком, Советы, Учредительное собрание или даже пусть чорт собачий... Но я работать хочу. Понимаете, для себя хочу, а не для барских затей или для социализации дурацкой. Ну, а при коммуне разве это возможно? Зубри книжонки, пой „это будет последний“.., да „товарищам“ взятки давай. Вот, когда мужик одолеет, то будет порядок. Мне нужен порядок: я за собственность. А где собственность, там должен быть и закон.

— А вы собственник?

— Нет. Но буду... Покойной ночи. Приятного сна.

Он тушит свечу и отворачивается к стене, — к брезенту. Ему нужен порядок. Поэтому он „бандит“. Он за собственность. Поэтому он был коммунистом... А Россия? Россия — „прикраса“... Не счастливее, не богаче ли я его?

3 августа.

Я иду проселком, между полями. Еще не скошена рожь, еще алеют красные маки, и в янтарных колосьях прячутся синие звездочки, васильки. Полдень. Сладкой горечью пахнет полынь.

У Можар я сворачиваю на большую дорогу. На дороге знакомый хутор. Здесь живет „резидент“, мой старый приятель, купец Илья Кораблев.

Пусто на огородах. Пусто в конюшне. Пусто на просторном чисто выметенном дворе. Только в пруду полощутся и брызжут водою утки. На заборе — десятилетний мальчишка. Он болтает голыми, черными от загара, ногами.

— Здравствуй... Не узнаешь, что ли, Володька?
— Проходи.

Проходи... Я люблю детей, люблю и Володьку. Он всегда выбегал мне навстречу. Он рассказывал про свои мальчишеские дела. Про голавлей, про кукушкины гнезда, про крыс, про жеребую кобылу Феклушу. Но сегодня он мрачен. Он смотрит исподлобья, волченком.

— Тятка дома?

Он нахмурился и молчит.

— Где тятка?

— Нету тятки... Убили. Приехали и убили.

— Кто убил?

— Да чего стоишь то? Сказано: проходи...

— А мамка?

Дрогнули румяные губы. Он машет худой, тоже загорелой, рученкой.

— Мамка?.. Мамку с собой... увезли...

— Что же ты, Володька, один?

— Я да Жучка остались... Да проходи ты, бесполовый какой... Неровен час, убьют и меня.

Я медленно возвращаюсь в лагерь.

4 августа.

Иван Лукич был в разведке. Он докладывает:

— Иду, а у Салопихинского ключа городской, милицейский. Подошел. Покурили, поговорили. То да се, да кто, да откуда. Я говорю: — „коммунист“, и документ ему показал. Он и пошел: — „Я тоже“ — говорит — „коммунист“. Сколько я этих белых на своем веку в расход вывел... На сибирском фронте, у Омска... А теперь вот зеленых ловлю. Шайка тут

бандитская завелась. Ну, да мы ее живо поймаем. Попляшут они, родненькие, в Че-ка"... Я слушал, слушал и говорю: — „Молодец, нечего сказать, молодец"... А потом ноган вынул и приставил к виску. Он не верит: — „Полно шутить, товарищ"... — „Какие шутки?.. Руки, родненький, вверх"... Так у него даже волосы под шапкой зашевелились. Вот часы и партийный билет.

Федя вертит часы в руках. Часы золотые со звоном. Федя ставит стрелку на „звон“:

— Три, четыре, пять, шесть... Шесть часов. Вот так ловко... Самоварчик разве поставить?.. Эх, верчу, переверчу, самоварчик вскипячу да Ивану Лукичу... С находкой вас, господин корнет.

5 августа.

„Не убий"... Мне снова вспоминаются эти слова. Кто сказал их? Зачем?... Зачем неисполнимые, непосильные для немощных душ заветы? Мы живем „в злобе и зависти, мы гнусны и ненавидим друг друга“. Но ведь не мы раскрыли книгу, написанную „внутри и отвне“. Но ведь не мы сказали: „Иди и смотри"... Один конь — белый, и всаднику даны лук и венец. Другой конь — рыжий, и у всадника меч. Третий конь — бледный, и всаднику имя смерть. А четвертый конь — вороной, и у всадника мера в руке. Я слышу и многие слышат: „Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“

6 августа.

Цветут липы. Земля обрызгана бледно-желтыми, душистыми лепестками. Зноем томится лес, дышет земляничкой и медом. Неторопливо высвистывает свою песню удод, неторопливо скребутся поползни

в сосновой коре, и звонко, в тающих облаках, кричит невидимый ястреб. Днем — бестревожная жизнь, ночью — смерть. Ночью незаметно шелохнется трава, и зашуршит листьями орешник. Что, жалостно пискнет... Жалкий то предсмертный писк. Я знаю: в лесу опять совершилось убийство.

7 августа.

Вреде мне говорит:

— Не то, Юрий Николаевич, не то...

— О чем вы, Вреде?

— О нас, о зеленых... Ну, пусть белые дрянь. Так ведь я от белых ушел... Я думал, что здесь, в лесу, лучше...

— В лесу, действительно, лучше.

— Лучше?... А зеленая, а мужицкая тьма?... „Педзяки“, Антихристы, Ильи Пророки, костры... И, в сущности, всеобщее „вышибай днище“...

— Что же, Вреде, вы за красных теперь?..

Он вспыхивает.

— За красных?... Как вы можете так говорить? Я хочу честной жизни, я хочу открытого боя. Я офицер. Я не бандит, не разбойник... Ну хорошо. Мы победим, мужики победят... Что дальше? Мужичье царство?

— Да, мужичье царство.

— А мы?

Я улыбаюсь:

— Чего вы хотите, Вреде?

Он задумался. Потом медленно говорит:

— Чего я хочу?... Я хочу, чтобы Мокеичам не рубили пальцев и чтобы Володьки не оставались одни. Я хочу, чтобы не воровали Каплюги. Я хочу, чтобы не было ни „рыжих“, ни „лохматых“, ни военкомсв, ни провокаторов, ни Че-ка... Я хочу...

Я перебиваю его:

— Вы хотите земного рая...

В лесу лицо его огрубело. Но он все еще хрупкий, похожий на девушку, мальчик. Он не может примириться со „злом“. Он не знает, что четвертый конь — конь вороной... Он в волнении спрашивает меня:

— За что мы боремся? Объясните.

И я говорю:

— За Россию.

8 августа.

Степан Егорыч, Грушин отец, ночью пробрался в лагерь. Я с трудом узнаю его: у него ключьями вырвана борода, один глаз распух и из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит: — „Так-с. Стало быть, били в морду, как в бубен... И что это, в самом деле за люди? И что это за мерзавцы такие? Ей-богу, креста на них нет“... Степан Егорыч вздыхает:

— Ох, многоуважаемый, всех забрали, а нас, стариков, пороть... Говорят: — „Деревню сожжем, чтобы и память о ней забылась, а вы, старики, как хотите. Поколеете, туда и дорога“... Груша не хотела итти. Схватила топор: — „Убью“... Ну, да где уж?... Скрутили ее, повезли. Ох, заступись, заступись... Что делать-то? Ох, владычица богородица, пресвятая великомученица Варвара...

Я понял одно, — я понял, что арестована Груша. Я спрашиваю:

— Куда повезли? Во Ржев?

— Во Ржев, многоуважаемый, во Ржев... Через Зубово и Сычевку...

Я говорю Феде:

— Седлай.

Он бросился к стреножным лошадям. Я жду. Мне холодно. У меня дрожат руки.

9 августа.

Я вброд переправился через Взмостю и, не разбирая пути, поскакал к Сычевскому тракту. Я скакал

по лесным тропинкам, по оврагам и сжатым полям. Ветви обжигали лицо, шумели листья в ушах. Взмыленный конь храпел, — я вспомнил Голубку. Я бил его до изнеможения нагайкой, я рвал шпорами исхлестанные бока. Он шатался, когда вдали показалась Сычевка. Поздно. В Сычевке не было Груши.

10 августа.

Федя ходил во Ржев. Он узнал, что Груша сидит в „Че-ка“. Ее допрашивали, — она не вымолвила ни слова. Ей грозят „пробками“ и Москвой. Я знаю, что значат „пробки“. Стены, пол, потолок — обшиты пробковыми щитами. Нет воздуха, нечем дышать. Человек понемногу теряет разум, теряет силы, теряет волю... У китайцев есть пытка крысой. Живую крысу сажают в кастрюлю. Кастрюлю ставят заключенному на живот. Крыса ищет исхода, — перегрызает сначала кожу, потом кишки, потом спину, пока не выйдет наружу, пока не изгрызет, не источит до-смерти человека... Не детская ли забава костер?

Я не сплю. Трещат кузнечики в соснах. Их треск, сухой и горячий, не дает мне покоя. Я вижу Грушу, ее высокую и белую грудь. Пахнет сеном... Егоров скосил поляну, и у палатки свежие, окропленные росой, копны. „Господи, неужто погибнем?“.. Нет, она не погибнет. Погибнут те, кто скрутили ее. Погибнут гады. Погибнут бесы... Вреде окликает меня в темноте:

— Юрий Николаевич, что делать?

— Как что делать?.. Пойдем во Ржев.

— Но ведь нас всего три десятка...

- - Если страшно, оставайтесь, Вреде, в лесу.

Он молчит. Зачем я обидел его? Я ведь знаю: он для Груши первый войдет во Ржев.

11 августа.

Нет Груши... Вечером я не слышу ее шагов, утром не вижу ее улыбки. Я не в тюрьме, я в пустыне. Никто не скажет: „Касатик... Соколик“... Никто не рассмеется веселым смехом. Никто не заплачет. Кругом глухая и хмурая ночь, — „зверь стоокий“.

12 августа.

— Ты, Федя, взорвешь мост на Гжати. Вы, Вреде, войдете во Ржев с востока, по московской дороге. Я войду от Сычевки, с юга. Мое дело Че-ка, ваше — Уисполком. Сбор у комендантской команды. Гарнизон небольшой: красные ушли на Калугу, ищут нас под Мещовском. Иван Лукич и Егоров пойдут со мною. Время — 3 часа ночи.

Вот моя диспозиция. Не диспозиция, а безрассудство. Так сказал бы полковник Мейер. Так, конечно, думает Вреде. Я говорю: гарнизон небольшой, но „небольшой“ означает человек триста. Мне все равно, потому что нет Груши, и еще потому, что „преследуйте врагов и настигайте их, и не возвращайтесь, доколе не истребите их“.

13 августа.

Мы взяли Ржев. Мы взяли его на рассвете, когда всходило румяное солнце и в пригородной церкви Николы на Кузнецях звонили к ранней обедне. Убит Мокеич, убит Титов, убит Хведощеня и ранено двенадцать „бандитов“. Но город в наших руках. Мы — калифы на час. Где Груша?

14 Августа.

Груши нет... Я не нашел ее ни в „Че-ка“, ни в уездной тюрьме, ни в казарме. Груши нет... Зачем

же я пожертвовал „шайкой“? Зачем же мы брали Ржев?

Вреде докладывает, что красные наступают. Из Москвы идут три дивизии... Три дивизии... Хорошо. Мы уйдем. Хорошо. Мы уйдем без Груши. Я зову Федю:

- Федя, сколько на площади фонарей?
- Не считал, господин полковник.
- Сосчитай. И на каждый фонарь повесь. Понял?
- Понял. Так точно.

15 августа.

Я сказал: „спасайся, кто может“, и уже нет „бандитов“ и „шайки“. Нет никого. Есть отдельные небооруженные люди. Они рассеялись по окрестным лесам. С кем же красные будут драться?

Я верхом ухожу из Ржева. Чего я достиг?... Вот опять знакомое, столетнее, утомление. Нет, хуже. Позади—опустелый лагерь, впереди... На что надеяться впереди? Запылали деревни вокруг, свищет плеть, трещат пулеметы. Нет конца самоубийственной бойне. Изошла слезами Россия и исчах великий народ.

Вечереет. Красным заревом разгорелась заря и погасла. На прозрачном, бледно-зеленом небе девять черных столбов. Девять повисших тел. Все без шапок, в нижнем белье. Все с открытыми, слепыми глазами. И все качаются на ветру.

За Москву. За Столбцы. За Грушу.

3 февраля.

Я подхожу к телефону.

-- 170-03...

.
-- Алло! 170-03? Попросите товарища Ковалева.

.
-- Алло! Это ты, Федя?

— Я, господин полковник.

— Осторожнее. Какой я теперь полковник?

Я слышу, как он смеется.

— Бог не выдаст, свинья не с'ест... Плевать я на них хочу...

-- Ну что?

— В Кунцеве. На третьем запасном пути.

-- Так... Ну, а ты как живешь?

— Я-то? Скоро за усердие в комиссары произведут...
Вчера обыск делал. Саботажника одного из белогвардейцев ловил. Только убежал проклятуший...

Я вешаю трубку. Итак, поезд в Кунцеве. Мы тоже „саботажники“ и „белогвардейцы“. Мы взорвем его на этой неделе.

4 февраля.

Федя — не Мошенкин, а Ковалев. Он состоит сотрудником „Ве-че-ка“. Егоров — не Егоров, а Ларио-

нов. Он служит сторожем в „Наркомздраве“. Вреде-не Вреде, а Лазо. Он в красной армии, командует эскадромом. У всех троих фальшивые, точнее „мертвые“ документы — документы убитых. Все трое в партии — „убежденные коммунисты“. Иван Лукич — „спекулянт“, живет под своей фамилией и держит связь с „Комитетом“. Я — без имени, невидимкой, скрываюсь у разных людей. Эти люди, конечно, рискуют жизнью.

Я в Москве. Невозможное стало возможным...

Я могу сказать про себя: „Я день и ночь пробыл в глубине морской, был много раз в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте, на службе и в наготе“.

Где я теперь? Не снова ли в „глубине морской“?

5 февраля.

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе...

А сегодня... Сегодня я не нахожу любимой Москвы. Сегодня мне все чужое. На площадях — казенные „монументы“. На вывесках — оскорбительные для русского уха слова. Памятник Марксу. Господи, Марксу!.. И тут же „Наркомздрав“... „Пролеткульт“... „Москвотоп“... „Наркомпрод“... Я иду по Арбату. Сияет зимнее солнце, хрустит под ногами снег. Те же тополи, те же березы, те же задумчивые особняки. Тот же уездный, московский, быт. Но вот загудела, задымилась нефтью „машина“. Грохот и нахальный свисток. Пронесется „владыки мира сего“. „В гору холуй пошел“... Я опускаю глаза. Я не хочу, я не могу видеть их.

Ольга жила на Цветном бульваре. Я вошел на широкий двор и поднялся в четвертый этаж. Мне открыл скуластый, в кожаной куртке „товарищ“: — „Нет такой... Не живет“... Когда захлопнулась дверь, я долго стоял на площадке. Темнело. Внизу, в „дом-коме“, — в швейцарской, — ругались громкие голоса.

6 февраля.

В моей комнате голые стены и накрытый грязной скатертью стол. На столе нечищенный самовар. За самоваром Егоров. Он пьет чай. Он пьет его по-крестьянски — с блюдечка и в прикуску, и, разумеется, из своей посуды. Он носит ее в кармане.

— Как же ты пьешь в „Наркомздраве“? Ведь религия — „опиум для народа“...

— Как пью? По закону... Один бес пытался было под‘ехать ко мне: — „Какой, мол, ты коммунист? Какой, мол, ты бессознательный пролетарий? Бога нет. Бога выдумали попы“... Ну, я его поучил маленько: — „Коммуна коммуной, а о боге не смей. Не то голову отвинчу“... Ох, господин полковник, не пристало мне ползать ужом. Да и толку нет, пока что... А грех-то, грех-то какой...

— В чем грех, Егоров?

— Как в чем? Цельный день промежду бесов. Бесовские речи слышишь. Бесам угождаешь. Того и гляди, и сам в бесы угодишь...

Хозяйка, Пелагея Петровна, выносит выпитый самовар. У нее истощенное, с зеленоватым оттенком, лицо. Ее муж, механик, работает на заводе, — „не на заводе, а на каторге царской“, как она говорит. Егоров косится исподлобья:

— Тоже бесовка?

— Нет, своя... Слушай, Егоров...

— Я, господин полковник.

— В Кунцеве, на третьем запасном пути стоит поезд. В нем снаряды для московского гарнизона.

Завтра у тебя службы нет. Ты взорвешь его во время обеда.

Он кивает длинною бородой: „вот и толк, слава богу“. Потом говорит отчетливо, как в строю:

— Слушаюсь, господин полковник.

7 февраля.

Кунцево. Морозное утро. Снежный блеск ослепляет глаза. Направо парк, пушистые треугольники елей, — „пивные бутылки“, сказал бы „художник“ Федя. Налево станция, — рельсы. Третий запасный путь.

Без пяти минут час. Я жду... Я вижу: в четвертом вагоне от паровоза блеснула искра. Она блеснула, потом погасла. Потом вдруг вспыхнуло пламя. Раздался гул, глухой и короткий. И сейчас же, взмывая щепки, из вагона вырвался смерч. Он фонтаном взвился до небес и расплылся продолговатым, огненно-желтым, огромным кольцом. Это кольцо застыло. Оно повисло над лесом, — грозный и всевидящий глаз.

Засвистели осколки... Я не пытался уйти. Ноги вросли в холодную землю. Я ждал конца. Я ждал последнего взрыва. Зачем? Я не знаю... Я хочу и не умею сказать.

8 февраля.

Мое окно выходит во двор. Пейзаж — мусорная яма и сосульки на водосточной трубе. Полумрак даже в полдень. Зловоние даже в мороз. И это Москва?

Издали, в лесу и в походе, Москва сияла путеводной звездой. Ну вот, я в Москве. Светлый праздник? Нет, будни. Будни — утренний самовар, будни — серая Пелагея Петровна, будни — Пречистенка

и Арбат. Трудно жить без „возвышающего обмана“. Еще труднее бороться. Груша боролась за жизнь. За что я борюсь?

Я не верю в „программы“ и, разумеется, не верю „вождям“. Я тоже борюсь за жизнь, за право жить на земле. Борюсь, как зверь, когтями, зубами, кровью... Я сказал: „на земле“. Неправда. Не на земле, а в России, только в России. Пусть будни. Пусть мусорная яма. Пусть полумрак. Но это свое и родное. Как своя и родная Ольга.

9 февраля.

Мы сидим на Страстном бульваре. Сумерки. В переулках — ветер. Зажигаются фонари. Федя сплевывает:

— А я, господин полковник, „товарища“ вывел в расход.

— Что ты, Федя? В Москве?..

— Так точно. В Москве. Начальник мой, Соболев ему фамилия.

— Когда?

— Да ночью сегодня. Узнал я, что он на Девичьем поле живет. Вот и поджидаю в воротах, вроде будто грабитель. Никого. Хоть шаром покати. Вдруг, гляжу: семенит, разбойник, ногами. Ну, я вышел, шапку с него сорвал, да ногой хватить по затылку. Он и сел. Я с него шубу снимаю, а он вытаращил глаза и бормочет: — „Ковалев... Ковалев...“ Это, стало быть, я. Ну, я его, понятно, пришил.

— И ограбил?

— Неужели, по вашему, добру пропадать?.. А утром, на службе скандал: „Товарищ Соболев убит... в видах ограбления“. Я заикнулся: — „Товарищи, а может быть белогвардейцы?“ Какой там... Ведь неприятность, если белогвардейцы: не доглядели. А тут еще этот взрыв... Хлопот полон рот. Насилу

освободился. Не пускали. Хотели, чтобы я убийцу ловил.

Он ухмыляется. Он и здесь играет в „акульку“, — без проигрыша, конечно. Вот уж, поистине, безоблачная душа.

10 февраля.

Сегодня день моего рождения. Я, конечно, забыл о нем. Но Федя вспомнил и поднес мне „картинку“. На „картинке“ красками нарисован букет. Цветы перевязаны розовой лентой. На ленте стишок:

Поздравляют вас бандиты
И желают счастья вам,
Вы отец наш знаменитый
На страх гадам и бесам“.

Под „стишком“ каллиграфически написанный адрес Ольги: Молчановский переулок, десять. Федя узнал его в „Ве-че-ка“... Я нашел Ольгу. Я счастлив.

— Спасибо, Федя... Но почему же „отец“, да еще „знаменитый“?

— Знаменитый, потому что прославились в Бобруйске и Ржеве, а отец...

Он сморкается в шелковый, „покупленный“, конечно, платок. Потом говорит, моргая единственным глазом:

— А отец, потому что... потому что не погнушались нами...

11 февраля.

Она вскрикнула и отступила назад. И, не садясь и не предлагая мне сесть, сказала:

— Жорж, ты — бандит?

Я взглянул на нее. Вот черное, закрытое доверху, платье. Вот узкая, без колец, рука. Она остриже-

на. В ней что-то чуждое мне. Монашенка? Или... или... Нет, не может этого быть.

— А ты? Кто ты такая?

Она отвечает твердо:

— Я — коммунистка.

Я сел. Я только теперь заметил, что в комнате нет ничего: стол, кровать и два стула. На стене портрет Маркса.

— Ты — бандит?

— Да, я „бандит“.

— Белогвардеец?

— Белогвардеец.

— Наемник Антанты?

Зачем казенные, заученные слова? Я холодно говорю:

— Меня нельзя купить, Ольга.

— Так для чего?.. Почему?..

Она всплеснула руками. Она силится и не может понять... Я тоже.

12 февраля.

Ольга взволнованно говорит:

— Жорж... Ведь ты боролся для революции. Скажи правду, разве вы совершили ее? Ведь мы низвергли царя. Ведь мы завоевали свободу...

— Ольга, не говори о свободе.

— Ведь мы восстановили Россию...

— Не говори о России.

— Почему?

— Потому что свободы нет. Потому что России нет.

— Свободы нет?.. А вы? Не вешаете? Не расстреливаете? Не жжете? России нет? А вы? Не ходите по чужим передним?

— Ольга, молчи.

Она встала. Ее глаза потемнели. Она рукой стучит по столу.

— Что для вас народные слезы и кровь? Что для вас справедливость? Вы родину любите для себя.

Вы свободу цените только вашу... И вы не видите, что рушится старый мир... Нет... Вы предали революцию... Вы изменили России... Вы враги... Слышишь, Жорж, ты мой враг...

Я тоже встаю.

— Что же, Ольга? Донеси на меня.

— Что ты? Господи, что ты, Жорж?..

Она закрыла лицо и плачет. Кто это? Ольга?.. И где я? В келье? В скиту? И зачем этот образ, — в золоченой раме портрет?.. Я слышу, — она говорит сквозь слезы:

— Жорж... Жорж... Зачем ты пришел?

13 февраля.

Зачем я пришел?... „Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее: итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“. Искушавший говорил почти правду. Царства принадлежали ему, камень иногда становится хлебом, и можно броситься вниз и не преткнуться ногой. В этом „почти“ — весь соблазн. Что есть истина? Мы не знаем ее. Не знают ее и они. Пройдет мгновение — и не будет виселиц и расстрелов. Не будет Феде. Не будет „Че-ка“. Настанет „благополучие“.

Не колодец разверзся. Тьма ослепила глаза. Ольга, и — самодовольный, в тупом величьи, портрет. Ольга, и — проповедь искушения. Ольга, и — неистовый гнев. Вечер. В комнате пусто. За стеною храпит хозяин. Мне холодно. Я не зажигаю огня.

14 февраля.

Федя вбегает ко мне. Он бледен. Его рыжие волосы в беспорядке. Я только однажды видел его таким: во время ночной атаки.

— Едва добежал, господин полковник... Приготовьтесь. Дом окружен.

Я не верю. Я не верю, что бы в „Че-ка“ узнали мой адрес. Он известен только своим. А между нами предателей нет.

— Федя, вздор говоришь.

— Взгляните в окно.

Я взглянул. Да, во дворе стоит часовая. Что это? Нелепый случай?.. Федя вынимает револьвер. Я вижу, как у него трясется рука.

Что делать? Мы в мышеловке... Я тоже ставлю браунинг на „огонь“.

— Федя, у тебя с собой партийный билет?

— Так точно.

— И удостоверение „Че-ка“?

— Так точно.

— Ну, так иди вперед.

Он понял. Лицо его просветлело. Мы проходим через столовую в кухню. В столовой возятся дети. В кухне пахнет мокрым бельем. Пелагея Петровна шепчет: — „Не ходите, ради Христа: убьют“... Но Федя быстро шагает к воротам.

Вот и улица. На улице грузовик. Он пыхтит, — дребезжат оконные стекла. Гололедица. Капает с крыш. Блестит на солнце Христос Спаситель, Федя крестится:

— Бог пронес, господин полковник... Не потопила богородица наш город Псков...

15 февраля.

Меня приютил мой старый знакомый, профессор. Он читает биологию, зоологию, минералогию, — я не знаю, какую именно „логию“. Он с утра уходит на службу, и я остаюсь один.

Не дом, а каменная коробка, не квартира, а научный музей. Микроскопы, колбы, реторты, графики и раскрашенные таблицы. Над камином стенные

часы — кукушка. Она кукует каждые пол-часа. Медленно ползет время, — догорает ненужный день.

Я когда-то сказал: „Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь борьба. Я пью вино цельное“. Я пью его сейчас. „Не убий“... „Не убий“, когда убивают твою жену? „Не убий“, когда убивают твоих детей? „Не убий“, — и оправдано малодушие, и возвеличена слабость, и бессилие возведено в добродетель... Да, убийцы „умрут от язв“. Но „боязливых, и неверных, и скверных, — участь в озере, кипящем огнем“.

16 февраля.

Долго ли продлится мой карантин? Федя волнуется. Он не советует выходить. Я один, с глазу на глаз с кукушкой. Тихо. Тихо так, как бывает в комнатах глубокой зимой.

Тьма ослепила глаза... Разве это прежняя Ольга? Где косы? Где белое платье? Где радостный и беспечный смех? Где Сокольники? Где невозвратимые дни?... Велик и тяжок соблазн. Темный Егоров чувствует его сердцем. Его не понимают ни Федя, ни Вреде, ни, конечно, Иван Лукич. Для них все ясно и просто. Россия и „Коминтерн“. Мужик и рабочий. Они за мужика и Россию. Я тоже за мужика и Россию. Но я знаю, я помню, что сказано было в ответ. А Ольга?...

17 февраля.

Слава богу, нарушено мое „табу“. Федя мне позвонил: в „Че-ка“ получено донесение, что я выехал из Москвы. Меня ищут в Киеве и Одессе. По вечерам приходит Иван Лукич. Иван Лукич располнел и обрился. На нем модный, стянутый в талии, пиджак и золотая цепочка. Не часы ли „со звонком“?... Он говорит от имени „Комитета“.

— Комитет недоволен взрывом.

— Почему?

— Мешает работе.

Может быть он и прав. Мы отравлены кровью. Мы без крови не понимаем борьбы. А „комитетчики“ грызут „Совнарком“, как мыши: тихо, настойчиво, осторожно. Их жизнь тяжелее нашей. У них бессменные будни, неблагодарный и кропотливый труд. Сначала труд, потом, конечно, тюрьма. А „перчатки“? А „сосиски“? А „пробки“?

— Комитет предлагает другое.

— Что именно?

— Начальника „Ве-че-ка“.

Начальника „Ве-че-ка“... Я колеблюсь. Ведь он, как царь, — за семью печатями и замками. Но „взялся за гуж, не говори, что не дюж“.

— Хорошо.

— Так я передам.

— Передайте. Ну, а вы? Что у вас?

Иван Лукич вынимает туго набитый бумажник. В бумажнике доллары и фунты.

— Видите. Вот. Табаком торговал.

Он торгует. Он „спекулянт“. „Каждый муравей свою соломинку тащит“... Да, он, наверное, купит хутор, он, наверное, разведет голландских коров. Но ведь и коммунисты „в свой карман норовят, — и только“.

18 февраля.

Я призвал к себе Вреде и Федю. Вреде — „коммунистический комсостав“. Звенит сабля, звякают шпоры. Не хватает только погон.

— Ну что, Вреде, сняли погоны?

Он краснеет.

— И не жалею. Надо правду сказать. Ведь мы ничего не знали. Какой это сброд? Это армия, настоящая армия... Пусть красная, а все-таки наша.

Федя насмешливо замечает:

— Правильно, господин поручик. По морде хлещут за милую душу. Хлещут, да еще с прибауткой: „Это тебе не Временное правительство. Это тебе не старый режим. Как стоишь, сукин сын?“... Ей богу.

Вреде сердится:

— Это неправда.

Неправда?... Вот где сила и власть вещей. Вреде снова чувствует себя офицером. Он на коне, в строю, впереди эскадрона. Он почти забыл, что он белый. Я нерешительно говорю:

— Что вы думаете о начальнике „Ве-че-ка“?

Но он отвечает без колебания:

— Я, Юрий Николаевич, всегда готов.

— А ты, Федя?

Федя молчит. Потом качает задумчиво головой:

— Прикажут, — надо итти. А только трудное это дело. Где уж нам да ежей давить, господин полковник.

19 февраля.

Да, зачем я пришел?... Меня снова гложет тоска, — тоска по вольной жизни, по лесу. Мне тесно, меня давят камни в Москве. И я не смею думать об Ольге. Она всплеснула руками. Она не в силах понять. Но ведь я сказал: „и я тоже“... Вот вчера я шел с Егоровым по Ильинке. У торговых рядов, у стены, стоял татарин в рваном халате. Он протягивал шапку. На шапке была приколотая надпись: „Товарищи, подайте на гроб“. Егоров остановился. Он посмотрел на засаленные бумажки и плюнул.

— Жалеют... Чего тут жалеть? Околевает, а все еще терпит бесов, товарищами зовет. Вот господь и прогневался на него.

На той стороне „бесы“. Что на этой? Разве Егоров выстроит новую жизнь? Разве Федя посеет здоровое семя? Разве Вреде не взбунтовавшийся барин? Разве Иван Лукич не кулак? Что прино-

сим мы с собою России?.. Но ведь „господь прогневался“ не на нас. „Господь прогневался“ на того, кто не борется, кто, и умирая, покорен „бесам“. А Ольга?..

20 февраля.

Я говорю Ольге:

— Значит, можно грабить награбленное?

— А ты не грабишь?

— Значит, можно убивать невинных людей?

— А ты не убиваешь?

— Значит, можно расстреливать за молитву?

— А ты веруешь?

— Значит, можно предавать, как Иуда, Россию?

— А ты не предаешь?

— Хорошо. Пусть. Я граблю, убиваю, не верую, предаю. Но я спрашиваю, можно ли это?

Она твердо говорит:

— Можно.

— Во имя чего?

— Во имя братства, равенства и свободы... Во имя нового мира.

Я смеюсь:

— Братство, равенство и свобода... Эти слова написаны на участках. Ты веришь в них?

— Верю.

— В равенство Пушкина и белорусского мужика?

— Да.

— В братство Смердякова и Карамазова?

— Да.

— В вашу свободу?

— Да.

— И ты думаешь, что вы перестроите мир?

— Перестроим.

— Какой ценой?

— Все равно...

.....

Она чужая. Мне душно с ней, как в тюрьме.

21 февраля.

— Итак, довольно прочитать десять книг, чтобы истина стала понятной?

— Смотря каких книг.

— Евангелие?

— Нет, Евангелие для детей.

— Итак, довольно крикнуть с балкона „режь“, чтобы поднять за собою стадо?

— Не стадо, а русский народ.

— Народ богоносец?

— Нет, свободный народ.

— Итак, довольно поверить какому-то Марксу, чтобы отречься от родины, от родного гнезда?

— Ты мучаешь меня, Жорж...

— Чтобы исковеркать язык, растоптать отцовскую веру, разорить голодных и нищих, и расстреливать беременных баб?

— Жорж...

— Чтобы унижить русское имя и служить проходцам, для их корысти, их лжи?

— Жорж...

— Ты помнишь, Ольга: „Если Ты поклонись, то все будет Твое...“ Иди, и поклонись. Нет, ты уже поклонилась... Теперь все твое. Все ваше. Тебе, вам, дана власть.

Она упала грудью на стол. Она рыдает навзрыд. Меня ждет Федя. Я ухожу.

22 февраля.

Федя докладывает:

— Убили вас, господин полковник, ей-богу, убили... Вчера донесение: вернулся, мол, из Одессы в Москву. Сегодня утром другое: придет в 8 часов в Петровский парк, на „машине“. Батюшки мои!... Захлопотали, засуетились. Сейчас роту к Тверской заставе. Ну и я, многогрешный, тут.

Верно: слышим,— стучит „машина“. — „Стой!... Вылезай!... Документы!“... Вылезает так себе, господин. — „Я,— говорит —Алексюк, на службе в Госбанке“. — „Алексюк?... На службе в Госбанке?... Знаем. За нами!“ Тот — туды-сюды, и уже побледнел: караул! Прошел шагов пять, да со страху в кусты. Раз — раз... Из всех винтовок стали палить. Я наклонился, а в нем и дыхания нет. Тогда старший и говорит: „Собаке собачья и смерть“... Это, то-есть, про вас... Вот так и убили.

— Федя, ты донесения писал?

— Никак нет. Что вы? Разве бы я посмел?

Я знаю: он врет. Он опять играл и выиграл, конечно, в „акульку“: „уж такой, значит, фарт“.

23 февраля.

Арестовали Вреде. Его арестовали в манеже, после учения, и на грузовике отвезли в „Ве-че-ка“. Он не сопротивлялся. Федя просит меня оставаться дома. Довольно: мне надоел карантин. Ольга... Ольга чужая, но ведь чужая только потому, что своя. Вреде тоже был свой,— свой и чужой, конечно. В каждом из нас есть частица правды. Только частица, только ничтожная доля ее. Кто посмеет сказать, что познал ее целиком?

24 февраля.

Неужели начальник „Ве-че-ка“ не будет убит? Федя клянется, что Вреде арестован случайно. Но случайно окружили меня, случайно арестовали Вреде... „Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг“. Мы не дремлем. Не дремлют, разумеется, и они. Волк за тридцать верст чувствует человека. Так и они нас. Так и мы их. Я ощущаю опасность. Я угадываю, что она бродит

вокруг. Егоров стал мрачен. Он вспоминает Синицына и жалеет, что в Москве нет костров. — „Но кого жечь, Егоров?“... — „Кого?... Небось, знаешь сам...“ Я не знаю. Ведь не Федя же? Не Иван же Лукич?

25 февраля.

Вреде расстрелян сегодня, на Лубянке, в подвале. Перед смертью он написал мне письмо. Письмо принес Федя. „Я знаю, что скоро умру, но не жалею о жизни. Моя совесть чиста: я исполнил свой долг. Я послужил, как умел, России. Пусть я сделал немного, другие сделают больше. Верю в Россию, в ее славу, ее свободу, ее величие. Верю в русский народ, и за него умираю“.

Счастливый Вреде. Хорошо умереть с непоколебленной верой в душе, с сознанием своей непререкаемой правоты. Хорошо в последний, в предсмертный час, заглянуть в свою совесть и помолиться: „Господи, я исполнил свой долг“. Хорошо отдать жизнь „за други своя“... Так умер и Назаренко.

26 февраля.

... Вот идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

— Жорж, ты помнишь эти стихи?

— Помню. Но ведь, по твоему, Христос для детей...

— Да, для детей, а вот слушай. Мы начали с Брест-Литовска и кончили защитой России. Вы начали с наступления и кончили на чужих хлебах. Правда это?

— Да, правда.

— Слушай дальше. Мы начали с братанья на фронте и кончили победой везде. Вы начали с добровольцев и кончили на Лемносе. Правда это?

— Да, правда.

— Слушай еще. Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Вы начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда это?

— Пусть правда...

— Так почему же ты против нас?

Она сидит строгая, с бледным лицом, в том же черном, без украшений платье. Я смотрю на нее. Я ищу следов прежней Ольги. Вот любимые голубые глаза. Но и они как будто не те. Где их власть надо мною?... Нет, опять не праздник, а будни... Я говорю тихо:

— А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш „Коммунистический Манифест“?. Подумай. Вы обещали „мир хижинам и войну дворцам“, и жжете хижины и пьянствуете в дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыни „на гроб“, а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются, как рабы. Все, как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны... Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство. Правда это? Скажи.

Она молчит. Она не смеет ответить.

— Скажи.

— Да, правда.

27 февраля.

Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то я спрашиваю—зачем?.. Она плачет. Но я знаю: она

плачет не о своих ошибках и даже не обо мне. Она плачет о нашей любви... Мы оба блуждаем в тумане. В нас нет невинности Феди, огня Егорова, чистоты Вреде, — того, что успокаивает сердца. Мы знаем, что виноваты. По разному, но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть виноват никто. Все правы. Все — „прах земной“ и все „пух“... Где всадник с мерой в руке?

28 февраля.

Между нами сказано все. Все ли, однако?

— Жорж...

— Что Ольга?

— Ты меня ненавидишь, Жорж?

— Нет, Ольга.

— Но ты и не любишь меня?... Ты любишь другую?

Другую?... Я вспоминаю внезапно Столбцы, лунный свет и белый платок. Я вспоминаю звезды, и лес, и запах свежего сена. Я слышу: „Любись со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню...“ Любил ли я Грушу? Не знаю. Тогда мне казось, что не люблю.

— Ответь.

Она поднимает испытующие глаза. Она пристально смотрит. Потом говорит:

— Ты любишь другую... Так зачем, зачем ты пришел? Зачем смутил? Зачем посмеялся?... Ну, я твой враг, ты ненавидишь меня. Так уйди, Жорж, уйди...

— Хорошо. Я уйду.

Я сказал, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к окну. В серой раме окна высокая и черная тень. Ольга — та Ольга, для которой я здесь.

— Да, Жорж, уйди.

1 марта.

Иван Лукич уехал на юг по делам „Комитета“. Вероятно, он боится „Че-ка“, вероятно, также торгует хлебом. Хлеб, табак, какао, вино, — он не брезгает никаким товаром. Он копит деньги на „хутор“.

Егоров возмущен: — „Бросил. Стрекача задал... А все из корысти. Разве в нашем деле возможна корысть? В нашем деле надо в чистой рубашке, как, например, господин поручик. Ах, окаянные... Поганят народ, рублем соблазняют...“ Он ютится на заднем дворе, в клетушке. В правом углу — образа: бог Саваоф и Христос спаситель; в левом — высокий, окованный железом, сундук. В нем браунинги, патроны, бомбы, ручные гранаты. Крышка с внутренней стороны заклеена лубочной картиной: „Жизнь человека“. Восхождение: детство, юность, женитьба. Нисшествие: женитьба, старость, могила. Под могилою — ад: черти с трезубцами и хвостами, и Геенна, „вечный огонь“. Егоров тыкает пальцем:

— Вот. Забывают люди про это

Я говорю:

— Егоров, уезжал бы и ты.

— Никак нет, господин полковник.

— Смотри, Егоров, ведь арестуют.

— Не арестуют... Я их всех сундуком взорву.

Я улыбаюсь:

— А это не грех?

— Грех?.. Грех бесов сокрушать?.. Где это слышано, господин полковник?

2 марта.

Федя звонит, что нас ищут. Я и ему предложил уехать. Он, разумеется, отказался: — „Где вы, там и я, господин полковник. Помирать, так уж вместе,

чорт бы их всех побрал..." Я знаю, что мы играем с огнем, но не хочу, не могу бросить дело: я сохраняю надежду, что Федя узнает адрес начальника „Ве-че-ка“. „Ве-че-ка"... Какая стыдливость... Почему не „Охранки"? Ведь тот же, царский, застенок и тот же, Шемякин, суд.

Я хожу по Москве. Хлопьями валит снег. Он застилает бульвары, площади, переулки. Белеют крыши домов. Белеет трепещущий воздух. Бьют на Спасской башне часы. Я думаю о наших свиданиях — об Ольге. Ее вера — мое неверие. Ее радость — мое несчастье. Ее победа — мой бесславный конец. И обратно, конечно... Мне тяжело возвращаться к ней.

3 марта.

Истины нам знать не дано. Но то, что мы знаем, разорвано на две части. Одна у них, другая у нас. Не всякое слово облечется в живую плоть, но всякое может изойти кровью. Их слово изошло ею. Проплились не реки, а океаны. Во имя чего? Ольга говорит: во имя братства, равенства и свободы. Ей снится сон. Сон снится и мне. А явь? Не суета ли сует?

Я поднял меч. Я не мог его не поднять, — не мог, потому что я сын России. А теперь? „Друзья мои и искренние отступили от меня, и ближние мои стоят вдали. Я близок к падению, но скорбь моя всегда передо мною“.

4 марта.

Я, конечно, вернулся к ней. Ее комната тоже чужая. Слишком голые стены. Слишком наглый, слишком обидный портрет.

— Ольга, сними.

Она послушалась. Она снимает золоченую раму, Потом садится и берет мою руку.

— Хочешь, Жорж, я погадаю тебе?

Я не верю в гадания. И я не верю, что она хочет гадать. Я говорю:

— Не надо... Ты где нибудь служишь?

— Служу.

— Где?

Она называет какой-то „ком“. Попечение о детях. О „пролетарских“ детях, конечно.

— В партии?

— Да.

Я вешал за партию... Я молчу. Она тоже долго молчит.

— Жорж...

— Что, Ольга?

— Так где же, по твоему, правда? Ведь не в белых же?

— Нет.

— Не в зеленых же?

— Нет.

— Не в старых же партиях?

— Нет.

— Так где же?

— Не знаю... На заводе, в казарме, в деревне, у простых и неискушенных людей. Но не в вас.

Она встала и наклонилась ко мне. И вдруг быстро и сильно обнимает меня. Я чувствую ее тело, — ее высокую и мягкую грудь. Так обнимала Груша.

— Мне некогда, Ольга. Прощай.

5 марта.

— Жорж, ты любишь другую?

— Не знаю, Ольга, не знаю...

— Не знаешь?.. Ты меня разлюбил... Как я ждала тебя, Жорж. А потом... Потом... ты „бан-

дит"... Я не могла. Ты должен понять... Но скажи, кто она? Кто другая?

— Ольга, ее уже нет.

— Значит, правда? Значит, я не ошиблась?.. Нет, Жорж, я не люблю, я ненавижу, да, ненавижу тебя...

Она плачет. Льются женские, обильные слезы, — как у Груши, в лесу

— Ольга...

— Нет... Ты изменник. Ты предатель. Ты враг народа... Ты наш, ты мой враг..

— Ольга...

— Я тебе сказала: уйди.

Второй раз она гонит меня. Пусть так. Мне жалко моей любви. Но у меня нет ни гнева, ни сострадания. На улице я забуду о ней.

6 марта.

В „Известиях“ напечатано: „Новое преступление белогвардейцев. Предательский взрыв в Наркомздраве. Ве-че-ка, стоя на страже революционных завоеваний, открыла очередной заговор наемников Антанты, меньшевиков и эс-эров. 5-го марта, в 4 часа пополудни, агенты ее явились для ареста некоего Петра Ларионова, служившего сторожем в упомянутом учреждении. Ларионов, оказавшийся опасным бандитом, забаррикадировался в своей квартире. В ответ на требование выдать оружие, раздался оглушительный взрыв. Убиты товарищи Вецис, Бирк, и Щепанский. Здание Наркомздрова повреждено. Бандит изуродован взрывом настолько, что не мог быть опознан. Смерть предателям! Да здравствует РСФСР!“

„Бандит изуродован взрывом“... Егоров сделал так, как сказал. Да, он вешал, расстреливал, даже жег на костре. Но ведь он боролся с „бесами“. Но ведь он не курил и не осквернялся чужой посудой. До-

вольно ли этих заслуг, чтобы избежать того, о чем „забывают люди“? Он верил. Да святится вера его.

7 марта.

Егоров был темный старик, ибо темны народные недра. Темна неспаханная земля, богата и плодородна. Он корнями ушел в нее. Но „сделалось землетрясение великое“. Пошатнулась древняя жизнь. А новая... Что дала ему новая? „Убили сына и дом сожгли“... Бесовское навождение.

Я слушаю, как в трубе воеет ветер. И мне кажется, что я не в Москве, а в лесу, и что гудят вершинами клены. Вот Егоров выйдет из темноты, перекрестится двуперстным крестом и скажет: — „Эка, прости господи, благодать“... И, освежая и радуя, зашумит летний дождь.

8 марта.

Федя сидит в углу. Он курит папиросу за папиросой. Он похудел, под глазами у него синяки. Он, кажется, проигрывает в „акульку“.

— Сматывать бы удочки, господин полковник.

— А начальник „Ве-че-ка“, Федя?

— Очень уж тяжело, господин полковник. Даже ко мне и то начали приставать: „Давно ли в партии? Где раньше служил? Сидел ли в тюрьмах? В каких?“... Я вру, как пес, да ничего не выходит. Хитрые стали, мерзавцы. Не перехитришь, подлецов...

— Ты адрес узнал?

— Узнать-то узнал... Да что, господин полковник?... ей-богу, заберут, как курят...

— Ну, так уходи, Федя. Ты мне не нужен.

Он бросает окурочек в камин.

— Раньше субботы никак невозможно. Уехал. Вернется только в субботу. А до субботы...

Он машет безнадежно рукой. Он боится: в сердце мертвая мышь. Я перебиваю его:

— Я сказал: дай адрес и уходи.

9 марта.

Федя никуда не ушел. Его в тот же вечер арестовали. Я снова читаю „Известия“. В них сказано, что „белогвардеец“, агент Ковалев, убит при попытке к бегству. Значит и Федя нет. Нет никого. Я один.

10 марта.

Ждать до субботы... А сегодня четверг. Я, как затравленный зверь, как комиссарша в Бобруйске. Я скучаю о лесе. Уныл Василий Блаженный и безрадостен Кремль. Вот стена — могилы павших в бою коммунистов. Им — слава и вечный покой. А мне?... Мне широкий простор. Шуршит в лесу примятый орешник, приподнимается брезент над палаткой, — входит Груша босыми ногами: „Бей их, бей, чтобы ни один живым не ушел, чтоб поколеть им всем, окаянным“...

11 марта.

Да, Федя был прав: надо „сматывать удочки“. Я вышел вечером на Тверскую. Я шел без мыслей, без цели: я задыхался в своей коробке. Внизу, на площади, меня догнала „машина“. — „Товарищ, стой!... Руки вверх!“... Я успел вынуть браунинг: я всегда ношу его в рукаве. Я поднял правую руку и, не знаю зачем, стал стрелять. Я не видел людей, — я видел черные тени. Я нажимал на курок, пока не щелкнул последней пулей затвор. Тогда я очнулся... Я огляделся. Было пусто и очень темно. На мостовой, на мокром снегу, лежало три человека. Стучал мотором

оставленный грузовик. Я свернул в переулок... Итак, начальник „Ве-че-ка“ не будет убит.

12 марта.

Я прощался с профессором, когда позвонили. Профессор вздрогнул. Я взял браунинг и пошел отворить. На пороге стояла Ольга.

— Почему у тебя револьвер?

— Меня ищут.

— Кто ищет?

— Твои друзья, коммунисты.

Она не села, а почти упала на стул, как была — в папаше и шубе.

— Жорж... Ты уедешь? Да?

— Да, Ольга.

— Жорж, милый, возьми меня с собой... Жорж.

— Куда?

— Куда хочешь.

„Возьми меня с собой, куда хочешь“... Так просила и Груша... И почему эта женщина в папаше, с коротко остриженной головой, эта чужая мне незнакомка, говорит со мною на „ты“ и зовет меня Жоржем?

— Нет, Ольга.

— Жорж, будь чем хочешь, делай, что хочешь, но не отказывай... Пожалей... Ведь я люблю тебя, Жорж. Ведь я любила тебя всегда...

— Нет, Ольга.

— Потому что я коммунистка? Потому что я была против вас?

Я молчу.

— Ну, скажи же... Скажи.

Она не плачет. Глаза ее сухи. Она ждет. Так ожидала Груша ответа... Другого ответа.

— Потому что я тебя не люблю.

Я сказал и сам не поверил себе. Она потупилась. Звёнул стаканами на кухне профессор. Тикали стен-

ные часы — кукушка, и, помню, за окном кружился медленный снег.

13 марта.

Я в вагоне. Пахнет полушубками и махоркой. В дальнем углу, в темноте, какой-то малый „наяривает“ на балалайке:

Ах, коммуния, коммуния моя!
Ах, и рожа-то вся подлая твоя!

Чего я достиг? Позади — свежесвырытые могилы. Впереди... Что ожидает меня впереди? Труден путь и далек, и не видится, и не предчувствуется конца. Завтра они падут. Кто их заменит? Феде, Егоровы, Вреде? Или белоручки, святые Касьяны, не вложившие в язвы перстов? Но ведь надо строить, не разрушать... Ольга... Я сказал, что я ее не люблю. Да, мир опустел для меня. Россия—Ольга, Ольга—Россия. Неправда. А Груша?... Нет Груши, нет и мечты об Ольге. Замкнулся круг. Не тот ли последний, когда утрачивается надежда?

У коммунии карманы все в дырах!
У коммунии полцарствия в ворах!

Свистит пронзительно паровоз, погромыхивают колеса. „Наяривает“ в темноте балалайка. Мчится поезд. Куда?

14 марта.

Мчится поезд. Я вижу: под обнаженной березой, без шапки стоит человек, с веревкой на шее... „На что крестишься? крестись на восход“... Я вижу: разгорается красный огонь, белеют голые плечи... „Бо-

роду - то, бороду ему подпали“... Я вижу: пылает деревня, сверкнул на солнце топор: „Убью!“ ...Мчится поезд. „Товарищ, эй, не трусь! Пальнем-ка пулей в святую Русь!“...

Пальнули. И, раненая, бьется Россия. Пальнули не только они, пальнули и мы. Пальнули все, у кого была винтовка в руках. Кто за Россию? Кто против?... Мы?... Они?... И мы и они?...

Сроков знать не дано. Но встанет родина,—встанет нашею кровью, встанет из народных глубин. Пусть мы „пух“. Пусть нас „возносит“ ненастье. Мы, слепые и ненавидящие друг друга, покорны одному, несказанному, закону. Да, не мы измерим наш грех. Но и не мы измерим нашу малую жертву... „И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
„Суб‘ективная правда“ или „Звериная ненависть“ <i>Н. Л. Мещеряков</i>	3
Предисловие к русскому изданию <i>Б. Савинков</i>	11
Конь вороной (повесть)	13

ТРАГИЧЕСКИЙ И КОЩУНСТВЕННЫЙ БАЛАГАН

Главным в жизни Бориса Савинкова была борьба. Менялась обстановка, возникали и распадались партии, "союзы", группировки, стремительно несло или, наоборот, замирало в ожидании очередного рывка время — он боролся, — и не было, казалось, для него преград и границ: он старался быть всюду, успевал встречаться с сильными мира сего и с незаметными, скромными исполнителями—"бомбистами" — он боролся, боролся до конца. Срочные переезды, слежка, конспиративные квартиры, телеги, поезда, пролетки, зимний венок, автомобили, грим, динамит в картонных коробках из-под тортов, неизменный браунинг в рукаве, шифрованные телеграммы, неприкаянная жизнь — вот неотъемлемые атрибуты его судьбы — романтический маскарад, за которым всегда стояла кровь убиенных и кровь убивавших, слагавших головы ради идеи, ради цели, достижение которой казалось возможным только через насилие, борьбу кровавую, террор. Не было вечных заповедей, они оказались попрыны, растоптаны, забыты на время ради главной цели, ради борьбы за счастье России. Слова выстраданные, но... плюс изначально подменялся минусом: основное — волевой рывок в будущее, пускай по-русски кровавый, пускай безоглядный, пускай... Борьба была средством существования...

Борис Викторович Савинков родился в семье "интеллигентного и честного", как позднее вспомнит мать, провинциального варшавского судьи 19(31) января 1879 года. Едва поступив в Петербургский университет, уже в 1898 году, вслед за арестованным старшим братом, он попадает в тюрьму. Попадает ненадолго, в отличие от брата, наказанного жестоко: ссылка в далекую сибирскую глухомань, где в конце концов, не выдержав одиночества и впад в тяжелую депрессию, он покончил жизнь самоубийством.

Отец, признанный в провинции заступник "униженных и оскорбленных", человек чести и долга, получив известие об аресте сыновей, оказался навсегда выбитым из колеи привычной жизни. Не в силах смириться с несоответствиями и жестокостями века, не перенеся тяжелых нравственных переживаний, он сошел с ума и вскорости скончался.

Борис, будущий "великий террорист", после первого ареста не отступил от начатого — уже в 1902 году он попадает в ссылку в Вологду по делу Санкт-Петербургской социал-демократической группы. Но с "эсдеками" ему не по пути. Тогда же, вероятно, осознает он свою "миссию" — он призван для ДЕЛА!

Бежав из ссылки, он скоро оказывается в Женеве в штаб-квартире эсеров, где "скромно, но твердо" заявляет Азефу, что "хочет работать в терроре". Провокатор, лидер партии эсеров, — одна из самых отвратительных и загадочных фигур русского освободительного движения: шпион охраны, безжалостно отправлявший на заведомую гибель своих "сотаварищей", и вместе с тем руководитель и мозговой трест эсеров — Азеф, человек проницательный, исключительно умный и волевой, сумел разгадать в сидящем перед ним молодом революционере нужного человека.

Савинков организует убийства министра внутренних дел В.К.Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Он проявляет чудеса конспирации, своей железной волей выковысает ядро, а по сути партию в партии — группу "боевиков-террористов", действующую сплоченно, активно, тайно, порой самовольно, без разрешения женевского центра, выносящую смертные приговоры руководителям царского правительства, готовящую покушение на самого императора. Он отправляет на смерть "бомбистов", и они идут убивать, идут, готовые к собственной смерти. Их письма из тюрьмы полны сознания правоты выполненного долга и... любви к пославшему их на смерть Борису Савинкову. Он обладал не просто даром убеждения, он, вероятно, ощущал себя пророком, вершителем судеб России и чувство это умел передать и передавал шедшим за ним. Он был честен и непримирим, его аскетическая, почти безумная вера ломала, подчиняла, покоряла людей.

Арестованный в 1906 году, он ждет в одиночке смертной казни. Не здесь ли впервые задумывается он о напрасно пролитой крови? Террор себя не оправдал, революция идет на убыль... Ему удается бежать. В 1907 году из-за разногласий с руководством он выходит из партии эсеров. Натура творческая, истинно одаренная, он в годы смятений, поисков оправдания содеянному становится писателем. В 1909-м выходит его повесть "Конь бледный",

схожая по основной идее с публикуемым "Конем вороным". Разочарование, усталость, ненужность пролитой крови гнетут автора.

Егор Созонов, взорвавший карету Плеве, писал Савинкову с акатуйской каторги: "Сознание греха никогда не покидало меня. К гордости и радости примешивалось и другое, нам тогда неизвестное чувство..."

Тогда, в годы активной борьбы, все силы были отданы погоне, слезке, все зависело от выполнения задания. Теперь, когда он оказался не у дел, наступает раскаяние, вылившееся в страницы прекрасной и страшной прозы. Егор Созонов покончил с собой — Савинков остался жить, выговорился, исповедался публично.

Но жизнь в России становится для него невыносимой. В 1911-м он эмигрирует. И пишет, пишет, пишет: воспоминания, роман "То, чего не было" (1914) — и... думает, мучительно думает о судьбе России.

В годы первой мировой войны он вступает добровольцем во французскую армию — он должен воевать против немцев, а значит, во благо России.

Сразу же после Февральской революции Савинков возникает в Петрограде, объявляя себя "независимым социалистом". Он должен быть в гуще событий, он чувствует, что настал его час.

Савинков слишком крупная, всемирно известная фигура, — и Керенский немедленно назначает его комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте, а затем — товарищем военного министра. Время опять несется вскачь!

С первых же дней Октября Савинков, уже включившийся в борьбу, уже ощутивший гон, объявляет войну большевикам — идейным врагам и тогда, в эмиграции, в первой революции, и теперь, и всегда. Он участвует в походе генерала Краснова на Петроград, после провала которого бежит на Дон, где входит в "Гражданский совет", образованный генералом Алексеевым в противовес Советской власти. Он помогает организовать Добровольческую белую армию. Он со всеми, кто против большевиков, он снова борец!

Тут необходимо внести разъяснения. Единственная партия, с которой большевики поделили власть в 1917 году, была партия эсеров. Эсеры, выступавшие за "социализацию" земли, были крайне популярны в среде крестьянства — в 1917 году в партии насчитывалось около 400 тысяч членов. Ни для кого не секрет, что знаменитый "Декрет о земле" был частью программы левых эсеров. Но уже в 18-м произошло расхождение между большевиками и эсерами по вопросу о Брестском мире. Позиции крайне обострились, когда в мае 1918 года была введена продовольственная диктатура в деревне.

Для деревни это было тяжелое время. С 1918 года стали образовываться комбеды, но там, где в комбеды выбирали кулаков, комбеды распускали Советы, фактически присваивая себе их функции. 6 июля эсеры вышли на улицы Москвы с лозунгами, обвиняющими большевиков. Они утверждали, что продовольственная политика бьет в первую очередь не по кулаку, а по всей деревне в целом. Выступление было подавлено. ВЦИК исключил правых эсеров из своего состава.

Правая группировка понимала борьбу по-своему. Опять появился потаенный браунинг, грим, конспиративные квартиры — Савинков становится главным организатором "активных" действий в тылу. Параллельно мирной тактике левого крыла он создает "Союз защиты родины и свободы" — четкую, военизированную контрреволюционную организацию, поднимающую вооруженные мятежи в Ярославле, Рыбинске, Муроме в июле 1918 года. После подавления мятежей Савинков бежит к восставшим чехам, вместе с которыми участвует в войне в рядах капеллевских отрядов.

В конце 1918-го — он представитель Колчака за границей — добывает деньги и оружие. Во время советско-польской войны 1920 года в родной Варшаве он председатель "Русского политического комитета", помогает созданию "Русской народной армии", воевавшей на стороне Пилсудского.

В 1921 году крестьянство было крайне измождено продразверсткой: хлеб сдавали фактически бесплатно. В деревне начался голод. По всей стране прокатилась волна крестьянских восстаний, самым серьезным из которых была, пожалуй, "антоновщина", быстро подавленная Тухачевским и Уборевичем. Вспыхнул мятеж в Кронштадте. Матросы выдвинули лозунг: "Советы без коммунистов. Вся власть Советам!".

Савинков, находясь в Варшаве и пристально следя за событиями в России, не мог не воспользоваться моментом. В январе 1921 года из остатков "Русского политического комитета", переименованного к тому времени в "Русский эвакуационный комитет", рождается новая военная организация "Народный союз защиты родины и свободы". НСЗРиС засылает

на родину не только агентов-одиночек, но и хорошо вооруженные отряды, ставящие себе целью поднять крестьянство на войну с большевизмом. Руководит ими полковник С.Э. Павловский, правая рука Савинкова.

Походы-набеги эти частично отражены в "Коне вороном" — льется кровь, пылают деревни.

В городе Холм убито 250, ранено 130 человек, в Демянске разгромлены советские учреждения, выпущены из тюрьмы уголовники, убито 192 человека. В районе Пинска захвачено 14 чоновцев — им приказано собственноручно вырыть могилы, после чего Павловский сам "кончает" их из револьвера. В селе Корюкине замучен и повешен коммунист Силин. Ограблены банки в уездных центрах Духовщина, Белый, Поречье, Рудня. Произведен налет на погранзаставу — убито 10 красноармейцев, повешена беременная жена начальника заставы. В Велиже ограблен банк. В Опочке живым сожжен директор банка Г.И.Хаймович. В местечке Пуховичи брошен в котел с кипящей смолой старик пастух, заподозренный в сочувствии Советской власти. Близ Полоцка пущен под откос поезд, ограблены почтовый вагон и пассажиры, расстреляно 15 коммунистов... Таков неполный перечень этих "зеленых" походов.

7 октября 1921 года после советской ноты польское правительство обязывает Савинкова и руководство НСЗРис покинуть страну. Они едут дальше.

В Париже наступает временное затишье, и он снова берется за перо и пишет "Коня вороного". Опять и опять вспоминается прожитое. Нет, сам он, как и в историях с "бомбистами", не убивал и не жег, но он чувствует и свою причастность, свою вину и, осмисливая пережитое, выплескивает на бумагу то, что жжет, мучает непрестанно: "Кто прав?" и "Права ли белые?"

В маленькой, но предельно сжатой повести самым, пожалуй, частым знаком является вопросительный. Грех ли свершенное? Костры, пытки, расстрелы? Но ведь в ответ! Но ведь ради России! Какой России? Этого не знают герои повести, не знает и сам автор — он, ярый враг советского строя, но ведь строй этот победил, а значит, правота на его стороне. Привыкший жить борьбой, привыкший ради идеи преступать основные, заложенные внутри каждого человека человеколюбивые заповеди, Савинков мучительно размышляет об этих основных законах человеческого общежития. "Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Такова первоизданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, празднословили о заповедях завета?.. Какой кошунственный балаган!" Да, балаган, кошунственный балаган, но только забыто главное — можно же и не убивать, не жечь, не вешать, не проливать кровь брата своего. Можно, но нельзя в системе Савинкова. "Такова жизнь", — констатирует, все-таки констатирует литературный герой и... немедленно зовет к покаянию.

Но литература столь же близка, сколь и далека от реальной жизни. "Одной из самых глубоких особенностей человека является неискоренимое желание быть правым", — сказал однажды известный швейцарский философ Карл Барт. И это желание "быть правым" — главный движитель жизни Бориса Савинкова, толкнуло его на новый и последний шаг. Покаявшись в повести, он немедленно откликнулся на призыв из России, "клонул" на виртуозно разработанную чекистами приманку — на якобы существующий в Москве подпольный центр по борьбе с большевизмом, ожидающий и не решающийся начать действия без "генерала от террора". Савинков перешел границу и 16 августа 1924 года был встречен сотрудниками ОГПУ и арестован в Минске.

27 августа Борис Савинков предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР.

— Я, — заявил он, — признаю безоговорочно Советскую власть и никакую другую. И каждому русскому... человеку, который любит родину свою, я, прошедший всю эту кровавую и тяжкую борьбу с вами, я отрицавший вас, как никто, я говорю ему: если ты... любишь свой народ, то преклонись перед рабочей и крестьянской властью и признай ее без оговорок.

Он признал власть. Признал, потому что подчинился, раздавлен был силой сильнее его, и он, всю жизнь уважавший по-настоящему только силу, сдался перед очевидным, раскрывшимся ему еще в моменты работы над "Конем вороным".

Военная коллегия вынесла ему смертный приговор, вскоре, учитывая "чистосердечное раскаяние", замененный десятию годами тюремного заключения.

В тюрьме он работал — писал статьи, рассказы, предисловие к повести, вышедшей затем в государственном издательстве "Прибой", посылал письма бывшим сотоварищам, призывая их покончить с ненужной, обреченной борьбой. Он опять каялся, теперь уже публично, честно, но... перенести десять лет бездействия он не мог.

7 мая 1925 года через восемь месяцев после вынесения приговора, он обратился к Дзержинскому с письмом, требуя немедленного освобождения. Он был уверен, что выпустят, ведь он был революционером, сражался за идею! Но тюремная администрация, принявшая письмо, разубедила узника, сказав, что помилование невозможно.

Тогда, воспользовавшись отсутствием оконной решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, Борис Викторович Савинков выбросился из окна пятого этажа во двор и разбился насмерть.

Петр АЛЕШКОВСКИЙ

"ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"

Серия репринтных изданий

В.Ропшин (Борис Викторович Савинков)

КОНЬ ВОРОНОЙ

Репринтное воспроизведение
издания 1924 года

ИБ № 150

Подписано в печать 13.12.89 г. Формат 60x88 1/16.

Бумага офс. № 1, 70 г. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 6,86 Усл. кр.-отт. 7,11.

Уч.-изд. л. 4,14. Тираж 25 000 экз.

Изд. № 321. Заказ 4377 Цена 2 р.

Издательство "Книжная палата"

103009, Москва, ул. Неждановой, 8/10

Московская типография № 9

НПО "Всесоюзная книжная палата"

109033, Москва, Волочаевская ул., 40

Р 4702010101 - 007 Без объявл.
008(01)-90

ISBN 5-7000-0255-8

Цена 2 р.